

9(0)27
Г 887



★
Троссман В.
СТАЛИНГРАД

★
Сталинград
1944

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач _____

КР 9(с)27
ГРР

Василий ГРОССМАН

~~32B~~
~~Г. 886~~
9(с)27
Г. 887

СТАЛИНГРАД

М 10 33178 N 133

✓ к 95

~~ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО~~
~~СТАЛИНГРАД~~

5249
ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАЛИНГРАД

ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАЛИНГРАД

1944

Сталинградская областная
библиотека
им. М. Горького

КХ

2318

ВОЛГА—СТАЛИНГРАД

Долог путь от Москвы к Сталинграду. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зеленых городов. Мы ехали пыльными проселками, укатанными грейдерами, ехали яркими, синими полднями и в горячей пыли, и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пыльно налившуюся краской рябину, ехали ночью, и луна и звезды блестели в тихих водах красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому быстрому Дону.

Мы проехали через Ясную Поляну. Пчелы ползали по цветам, прикрывшим тихий могильный холм, и маленькие осы неподвижно висели над могилой, словно прикрывая с воздуха мертвого Толстого. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна входило солнце, и свежебеленные стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали 80 убитых, да черные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о немецком вторжении в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от нее и похоронены в огромных воронках от тяжелых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.

А мы едем все дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны. Всюду: на полях, во время пахоты и молотбы, за лошадьми, впряженными в плуги, на тракторах и комбайнах, за рулем пружовиков, на опасной тяжелой страде прифронтовых разъездов трудится русская женщина. Это она первой вбежала в подожженный немцами яснополянский дом,

это она ровняет лопатой не имеющую конца-края дорогу, по которой идут танки, боеприпасы, скрипят колесные обозы. Русская женщина приняла на свои плечи тяжесть огромного урожая: сняла его, связала снопы, обмолотила зерно, свезла на ссыпной пункт. Ее загорелые руки не знают покоя от зари до зари. Она правит прифронтной землей. Подростки и старики — помощники ее. Нелегко дается женщине работа. Вот, утерши пот, помогает она лошадям тащить вязнущую в песке груженную тяжелой, плотной медью зерна подводу. Стучит она топором на лесозаготовках, валит толстые стволы сосен, водит паровозы, дежурит на речных переправах, носит письма, до зари работает в конторах колхозов, совхозов, МТС. Это она по ночам не спит, ходит вокруг амбаров, стережет свезенное зерно. Она не боится великой тяжести труда, она не боится ночной прифронтной жуты, глядит на дальний свет ракет, покрикивает, стучит в колотушку. Шестидесятилетняя старуха Бирюкова ночью пошла караулить амбары, вооружившись скованным железом сковородником, а утром, смеясь, рассказала мне:

— Темно, луны еще нет, один прожектор ходит по небу. Только я слышу: подбираются какие-то к амбару, замок пробуют. Сперва испугалась, думаю, что я, старуха, им, окаян-ным, причинить могу? А потом, как вспомнила, каким потом кровавым мои дочки этот урожай для моих сынов собрали, подошла тихо, наставила свой сковородник, да как зареву почище городского: «Стой, ни с места, стрелять буду!». Ну, они так и ахнули в бурьян, зашумели. Отбила я их сковородником от амбара.

Нелегко трудится русская женщина, принявшая в свои руки громаду труда в поле и на заводе. Но тяжелей трудовой пошл та тяжесть, которую несет ее сердце. Она не спит ночи, оплакивая убитого мужа, сына, брата. Она терпеливо ждет письма от пропавших без вести. Своим прекрасным, добрым сердцем, своей ясной, мудрой головой переживает она все тяжелые неудачи войны. Сколько скорби, сколько широкого и ясного ума в ее мыслях, в ее словах, как глубоко и мудро поняла она трозу, грохочущую над страной, как бесконечно добра, человеколюбива и терпелива она.

Нашей армии есть что защищать, ей есть чем гордиться — и славным прошлым, и великой революцией, и обширной, богатой землей. Но пусть гордится наша армия и русской

женщиной — прекраснейшей женщиной земли. Пусть помнит армия о жене, матери, сестре, пусть боится хуже смерти потерять уважение и любовь русской женщины, ибо нет на свете ничего выше и почетней этой любви.

О многом думалось по дороге к Сталинграду. Ведь длинна эта дорога. Вот уже другое время, часы здесь на час вперед. Вот и другие птицы — большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах, по вечерам серые совы тяжело, неловко летят над дорогой. Злой стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уж другая — пыльное многотравье ее исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жестким ковылем, льнувшим из потрескавшейся земли. Волы тащат телеги, вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на нижней Волге, это чувство вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, вызывают страшное чувство тревоги.

Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живет в армиях, защищающих Волгу и Сталинград...

Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветренный час. Низко неслись темные облака, но воздух был ясен, и на много верст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи Заволжья. Светлая сталь волжской воды широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, соединивший воедино Правобережье и Заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник. Волна вздыхала, колебля бакал. К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поглубела, воздух над ней подернулся легким синеватым туманом, мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег. Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелено-серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов, легкий дымок едва пол-

нимался над трубами, они сдерживали свое шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, груженные арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки, сдвоенные и учетверенные пулеметы, вырыты укрытия, замаскированные грузовики, рассредоточившись ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стесненный преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны. И по ночам старухи в волжских деревнях рассказывают одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, сказавшем захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград — дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда, придется нам обратно за свою границу идти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми — стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, летчиками, артиллеристами.

В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну. Во время нападения противник произвел свыше тысячи самолетовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и высшим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом, протянувшимся свыше чем на шестьдесят километров вдоль берега Волги. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза, с домами, населенными женщинами, детьми, подвергался чудовищной бомбежке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города. Но били они, главным образом, по центру. Мы не собираемся упорять их за это. Поднявшим меч внятен лишь язык меча.

Одновременно с налетом с воздуха противник прорвался к Волге северней города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе Тракторного завода. Удар врага отразили противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики подполковника Германа. Одновременно с ними сражались рабочие батальоны Тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, минометчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывались орудия, вывозились минометы на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рева разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Много десятков тяжелых пушек и танков получила армия за два дня боев северо-западной Сталинграда. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Навсегда войдет в историю этой войны имя веселого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего немецкие танки тяжелыми минометами. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Ее атаковали с воздуха пикировщики, с земли — тяжелые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулеметных очередей смешивались в единый хаос. На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами-артиллеристами. «Подавлены, накрылись», — каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась четкая размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли к батарее четыре человека и раненый командир. Они рассказали, что за все время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. Но внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.

Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, страница, написанная огнем и кровью, стойкостью войск, рабочим мужеством и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в

сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых юкопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград.

Мы приехали в Сталинград вскоре после налета. Еще кое-где дымится пожарища. Приехавший с нами товарищ-сталинградец показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская, — говорит он, — а здесь стояла моя библиотека, а вот в этом углу, где исковерканные трубы, я работал — тут стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома еще теплы, как тело покойника, не успевшего остыть. Ясное беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видна скульптура орла, одно крыло орла отбито осколком бомбы, второе простерто для полета. Стены и колоннада потрескавшегося Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на черно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белых скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зеленые вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стекла. Мальчишки собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин». «Здесь помещался штаб обороны Царицына». На центральном сквере стоит каменная колонка с надписью: «Пролетариат красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врагеловских палачей».

Сталинград живет и будет жить. Нельзя сломать воли народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы. Дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулеметные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные арбузные ломти, мальчишка, свесив с парома ноги, внимательно следит за поплавком своей удочки, толкая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на

фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй городов-героев, городов крепостей нашей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости непреступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорбленные», — читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подосевшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится, мы оскорбленные, но не униженные. Униженные мы никогда не будем».

Ночью мы ходим по улицам. В небе гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают гинтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно оглядывают улицы. Идет пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточены и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград. Вспоминается весь далекий путь. Вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна, пчелы на могиле Толстого, благородный и верный труд крестьянский на широких полях прифронтовой полосы. Красивая Меча при свете луны, старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмем Сталинград, не удержаться нам тогда в России», грохот артиллерийской канонады над Волгой, бронзовый летчик Хользунов, глядящий в небо, матросы на волжской переправе. Горько воевать на Волге. Но нет, не только об обороне нам нужно думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.

А войска все идут, идут по темным улицам. Лица людей молчаливы, задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, тех, кто надоборонял красный Царский от белогвардейцев. Эти люди достойны любви трудовой русской женщины, они не могут потерять ее уважения.

5 сентября 1942 г.

ДУША КРАСНОАРМЕЙЦА

Противотанковое ружье напоминает старинную фузею. Оно так же велико, тяжело, управляют с ним два бойца — первый и второй номер. В походе первый номер несет ружье, второй номер — увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды мелкокалиберной пушки, счетом 30 штук, пятизарядную винтовку, по 100 патронами к ней, две противотанковые гранаты, ну и, само собой — шибель и вещевой мешок. Все это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно несет плечевая кость и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжести ружья мешает движению, не дает сохранять равновесия. Бронебойщик шагает тяжелой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от легкого хода командира, от медленного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Это народ большей частью коренастый, плечистый. Бронебойщика отличает непокоротливость, упорство. По духу, характеру такой человек должен проходить на тех русских охотников, которые ходили с рогатинкой поднимать в чаще матерого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый, угрюмый мишка — безобиднейшая тварь по сравнению с тяжелым немецким танком, вооруженным скорострельными пушками и пулеметами.

Человек, опытный в металлургическом производстве, либо знающий работу шахты, придя в заводской цех или в подшахтное здание, почти всегда без ошибки укажет вам сталевара, горнового, чугушника, катала, либо забойщика, крепильщика, машиниста врубной машины. Каждого рабочего заметно отличает и походка, и одежда, и взмах руки при хвасте, и речь. Всякий ищет себе профессию по характеру, а тяжелая и благородная профессия депечатыгает характер рабочего, по подобию своему образует человека. Так и военное дело отбирает и соединяет людей по возрасту, силе, уму, по характеру, по страсти. И первая задача умелого командира и дельного комиссара помогать этому естественному отбору, подсказывать людям их профессию в суровой и тяжелой работе рейлы, помогать, а не мешать определяться пулеметникам, разведчикам, связистам.

Вот для меня боец Громов сделался образцом характера бронбойщика, хотя среди штурмовиков в ротке многие были ище его в плечах, решительнее в движениях, как, скажем тот лицкий Евтихов, причинивший немало беды немцам, либо старый сержант Игнатьев, человек с большими фуками, большим тяжелым подбородком, большим грубым голосом и резкими, быстрыми поворотами толстой, крапчатой от загара шеи.

Громову 37 лет, до войны занимался он в Нарвском районе Московской области сельскими, колхозными делами, прежде говоря — был пахарем. Вряд ли, выходя поутру с рассветом в прошлом году на колхозную конюшню и запрягая смиренную лошадку в неповоротливую скрипучую поводу, думал он о том, что примерно через год придется ему заняться истреблением один-на-один тяжелых немецких танков. Глядя на его бледно-серое, не поддающееся загару, лицо, тронутое морщинами от долгой тяжелой работы, певольно спрашиваешь себя, случайно ли стал этот человек бронбойщиком, первым номером расчета противотанкового ружья? Может быть, тот же случай мог определить его естовым в полковой сбоз, либо посыльным при штабе, либо мог он состоять часовым при армейском интендантстве, проверять разовые и постоянные пропуска?

Но нет, не так. В его короткой, раздраженной речи, в его светлых желто-зеленых и совсем недобрых глазах, в его движениях и повадках, в его неохотном рассказе, в его уверенно-спихивательном отношении к миру — во всем проявляется характер этого человека. Внутренний закон, а не случай определил его в стрелки противотанковой роты. В глазах его, дерзких, глядящих прямо и придиричиво, в его недобром, чуждом всепрощения, отношении к слабостям человеческим, в его резких и насмешливых суждениях о несовершенстве жизни сказывался характер недюжинный, прямой, сильный и упорный.

Еще в походе Громов болел, «мучился животом», но он не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шел под не ведающим жалости стесненным солнцем, неся на плече ружье. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:

— Сходи в санчасть. Ты с лица-облечел как-то.

— А что мне санчасть, — сердито отвечал Громов. — на печь, что ли, меня положат? Одно леченье — вперед идти.

— Ну, дай ружье понесу, — говорил второй номер Валькини, — натерло небось холку.

— Ладно, ты за мою холку не беспокойся, — раздраженно ответил ему Громов, — шагай за мной, твое дело маленькое.

И он шел, все шел в торячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он плохо спал, беспокойно и тяжело, его лихорадило и знобило. «Вот война, — думал он, — днем жара мучит, ночью холод, озноб бьет».

Впервые в жизни пришлось побывать ему на Волге. Острым, все замечающим глазом, осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мехнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами держащихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах. Прищурившись, оглядывал он реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, о виноградниках.

«Эх, пошел жулик, до коренной волжской земли», — думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, постоянно перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невеселых, тяжелых мыслей, они не оставляли его ни днем в степи, ни на ночных привалах, он сердился тяжелой медленной злобой и безжалостно судил в своем сердце все ошибки, все проявления нестойкости.

Он все был охвачен злобой тяжелого человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей. злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожженные деревни, навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев, он видел старух и стариков, баб с грухими ребятами на руках, ночеравших под открытым небом в степных балках, он видел невинную кровь, он слышал странные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.

И ни болезнь его, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не смогли сломить его воли, его желания — быть в броне немецких танков. Это желание, упорное и медленное,

созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжелое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, словно жемчужный уголь, разогретый в горне, фдело темно-красным огнем. И уже нельзя было потушить этот огонь. Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчеты легких пулеметов. Он верил в силу своего огромного ружья-пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, медленно и любовно смазывал замок, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темно-синюю сталь, блестящую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя и постукивая зубами, укладывал спать свое ружье так, чтобы не было ему торо, чтобы не леглась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал—большое тяжелое ружье, он верил в него во время войны так, как в мирные времена верил в стальные лемеха тяжелого плуга. Он был большим пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружье, пробивающее броню германского танка. Это ружье было под стать его натуре, его тяжелой трудовой жизни, его суровой душе, его медобрым зеленым глазам, всему духу человека, не прощающего обиду и аюмнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны. Громов, он изведал и тяжкий долгий труд и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить себе. И он шел на врага, припадая на ту ногу, куда леглась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, цыпа знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли воины с пестрыми мушкетами, и все кругом поглядывало на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой незаинтересованности проявлялась душа человека, который пошел на войну, ничего уже не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю пачку, небрежно кинуть случайно попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов нагруженного сердца, не прислушивался к своему частому горячему дыханию, не думал о смерти, навстречу которой упрямо шагал.

— Громов, хочиш бы в сапчасть, — сказал ему грубый человек, старший сержант Игнатьев.

— Нет, — отвечал Громов.

Ему было очень трудно. Иестокая война всей тяжестью легла на его плечи, его изморило ночью, а днем в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал — пыль ли это встала в воздухе или меркнет от хвори его зрение.

И он шагал все вперед, больной солдат, упрямый и злой, не жаждущий никаких похвал за великий подвиг — терпение.

Ночью они заняли боевой рубеж. Пробраться пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка» — потрескивающий шумливый самолет. «Керосинка» ставила фонари — ракеты и летала между ними, выматривала в белом, плоском сиянии, куда бы уронить малекалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было немного, но шуму и беспokoйства она причиняла порядочно — мешала спать, словно блоха. Почти до рассвета не спал Громов, лежа на дне «истолетной» шели, устроенной таким образом, что в нее можно было упрятаться и расчету и противотанковому пушке на тот случай, если германским танкистам удалось бы утиснуть гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головой и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся. Он посмотрел на Громова и тихо позевывая, сказал:

— Слышь, возьми мою шинель, ей богу, а я так посижу, высиделся я вроде.

— Ладно, спи, — ответил Громов.

Он никогда не был любезен со вторым номером, но сердцем понимал сварливую и нежную заботу товарища. И Валькин, глядя иногда на угрюмого Громова, думал: «Этот уж вытащит меня, хоть без обоих ног останусь, но бросит, зубами утащит от немца».

— Волга где? — спросил Громов.

— Вроде на левой руке. — сказал Валькин.

— Правильно, видишь, церковь белеет, это уже в Заволжье на низком берегу.

— Мы еще днем ее видели, когда старшина сухой паек давал.

— А справа холмики, это немец, — сказал Громов и спросил: — ты прямо в сумке отстегнул? Патроны подручной доставать будет.

— Весь магазин разложил, — ответил Валькин. — Тут и патроны, и гранаты, и сухари, и селедка, чего хочешь.

Он рассмеялся, но Громов даже не улыбнулся.

У солнцем начался бой. Сразу определилось, что главными заневалами были наши артиллеристы и немецкие минометчики. Они забивали все голоса боя — и пулеметные очереди, и треск автоматов, и короткое рыванье ручных гранат. Бронебойщики сидели среди нашей пехоты, на «ничьей» земле — над их головами упрямо завывали советские снаряды, за их спиной рвались германские мины, с змеиным шипом резавшие воздух, сухо барабанили сотни осколков и комьев земли. Перед глазами и за спиной бронебойщиков поднялись стены белого и черного дыма, серо-желтой пыли. Это принято называть «адом». И Громов среди этого ада прилег на дно щели, вытянул ноги и дремал. Странное чувство внутреннего покоя пришло к нему в эти минуты. Он дошел, не сдал. Он дошел и денес свое оружие, он шел так беспутленно, как идут в дом мира и любви, как идут больные путники домой, боясь остановок, охваченные одним лишь желанием увидеть близких. Ведь несколько раз в пути, казалось, он упадет. И вот он дошел. Он лежал на дне щели, а д вил тысячами голосов, а Громов дремал, вытягивая шатруженные ноги: бедный и суровый стдых солдата.

Валькин сидел на корточках возле него и, из-под матерясь, глядел, как бушевала битва. Иногда мины падали так близко, что Валькин прятал голову и быстро оглядывался на Громова, — не видит ли первый номер его робости. Но Громов полуоткрытыми глазами смотрел в небо, лицо его было затуманено и спокойно. Два раза Валькин видел, как немские автоматчики поднимались в атаку, у него замирало сердце от страстного желания дать по ним выстрел из противотанкового оружия — они были близко, совсем близко: он хорошо различал их серо-зеленые мундиры, пилотки, видел их лица с развешившимися в смертном азарте атаке ртами. Но он твердо помнил, что пистолетную щель нельзя зря демаскировать, они сидели в ней для охоты по тяжелой крупной бронированной твари, а не по вертявым автоматчикам. Несколько раз шли немцы в атаку и отходили обратно: они не могли прорваться сквозь огонь советской пехоты. И у Валькина нарастала тре-

вога: он внутренне чувствовал, что с минуты на минуту должны появиться танки. Он поглядывал на Громова и беспокоился — сможет ли больной первый номер выдержать бой с немецкими машинами?

— Ты бы поел чего, а? — спросил он и добавил, желая вызвать Громова на разговор, — говорил я старшине, чтоб сто грамм тебе дали, для лекарства прямо, от живота, не дал, чорт. А сам небось сколько хочет потребляет.

Но и этот интересный разговор не поддерживал Громов. Он лежал на спине и молчал.

Валькии внезапно припал к краю щели.

— Громсь, идут! — закричал он произительно, — иду! Громов, вставай!

И Громов встал.

В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались огромные, быстрые и осторожные, одновременно тяжелые и поворотливые танки. Немцы решили прорубить путь пехоте.

Громов дышал шумно и быстро, жадным острым взглядом разглядывал танки, идущие развернутым строем из-за невысокого холма.

Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.

— Нет, какой там, не испугался. даже наоборот, боялся, чтоб не свернули в сторону, а так страху никакого... Пошла в мою сторону четыре танка. Я их близко подпустил — стал одну на прицел брать. А она идет осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать ее совершенно. Ну дал я по ней. Выстрел из ружья негромкий, громкий и отдачи никакой, только легонько совсем толкнуло, меньше чем от винтовки. А звук прямо особенный. Тот раскатырень и все равно глотишь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И он погладил гладкий ствол своего ружья. — Ну, промахнулся я, словом. Идут вперед. Тут я второй раз прицелился. И так мне это весело, и зло берет, и интересно, ну прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеется кто-то: «а вдруг не осилишь, а?» Ну, ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал, прямо дух занялся: огонь синий по броне прошел, как искра быстрый. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой гнутрь вошел и синее пламя это дал. И дымок поднялся. Закричали внутри немцы, так закричали, я в жизни такого

крику не слышал, а потом сразу треск пошел внутри, трещит, трещит. Это—патроны рваться стали. А потом уж пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов. Я по второму танку дал. И тут уж сразу, с первого выстрела, пламя сплелось на броне. Дымок пошел. Потом крик. И снова с дымом снова. Дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу выздоровел. И горло как-то себя чувствую. И так дух радуется, прямо не было сомнений такого. Всем свету смотреть в глаза могу. Осилит я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели он меня сильнее?..

Разговаривали мы с Громовым в степной балке. Солнце уже село. Сумрак наполнил балку, неясно чернели длинные противотанковые ружья, прислоненные к стенке овражка, пролитого весенней водой. Мерно посасывали, завернувшись в шинели, бронебойщики. Молча сидел подле Валькини, натягивал на мерзнувшие ноги полы шинели. Лицо его было темным от загара и сумерек, казалось мрачным.

— Ты бы закрылся шинелью, больной ведь человек, — сказал он.

— Э, чего там!.. — Громов махнул рукой.

Его взволновал рассказ о первой встрече с танками. Глаза его словно встретились в полутьме, они ведь были совсем светлыми, большими, зелеными, добрыми.

И я сидел рядом и смотрел на него молча: на большого солдата, сенилешного немца, на человека, которому было совсем не легко воевать, на пахота земли, старшего бронебойщиком не по случаю, не по велению начальства, а просто по доброй воле, от всей души.

20 сентября 1942 г.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Месяц тому назад одна наша гвардейская дивизия со своими стрелковыми полками, с артиллерией, обстреливала санитарной частью и тылами потеснила к рыцарской слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершен необычайно стремительно—на автомашинах. День и ночь пылали грузовики на пыльной запыленной степи. Копытами, санируясь на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен тысяч машин и гусениц.

верблюдь тревожно озирались, им казалось, что степь горит, — могучее пространство все клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжелым, небо заволгло красной ржавой пеленой, и солнце, словно темная сеница, повисло над тонущей во мгле землей. Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастерок тяжелую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «по машинам!» и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, крытые чехлами пулеметы, мощные полковые минометы, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами — все сделалось рыжевато-серым, все покрылось мягкой теплой пылью. В головах людей стоял шум от гула моторов, от хриплого воя гудков и сирен: водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги, все время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно, он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по центральным улицам города. И генерал все торопил движение, все повышал и без того бешеный темп его, все сокращал и без того короткие остановки. И напряжение его воли передавалось тысячам людей, — им всем казалось, что без их жизни состоит в стремительном, день и ночь длящемся походе.

Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клены и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями, вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела темное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было владением, быстрым, легким и черным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стволы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги, на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу, казалось, что черный ободок вокруг нее из того смертного дыма, что стоит над горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы.

Люди топорилково сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью, сахар, колбасу.

Нелегкая вещь быстро переправить через Волгу полнокровную дивизию даже во время маневров. Но переправить дивизию, когда над Волгой светит ясное солнышко, когда воздух прозрачен, когда в небе носятся желтые осы «мессеры», когда немецкие пикировщики бомбят берега, а минометы и автоматы обстреливают с высот расстилавшуюся перед ними в своей ясной шире реку, это не то что нелегко, это больше чем трудно.

Но дух стремительного движения, принятый дивизией на марше, воля к сближению с противником помогли справиться с этой задачей. Переправа прошла с малыми потерями, — настолько стремительно и смело она была проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лоды. «Готово?» — спрашивали гребцы. «Вперед, полный!» — кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплескивала у носа суденышка, и сотни глаз напряженно, внимательно глядели то на воду, то на поросший, начавший желтеть листвою, низовой берег, то туда, где в беловатой дымке высился сожженный город, принявший жестокую и прекрасную судьбу. Баржи колыхались на волне, и людям стрелковой землей дивизии становилось странно от того, что враг всюду: в небе, и на берегу, а они рстечаются с ним, не чувствуя успокаивающей прочности земли под ногами. Невыносимо прозрачен и чист был воздух, невыносимо ясно синее небо, безжалостно ярким казалось солнце, обманчиво прозрачной текучая, плоская вода. И никого не радовало, что воздух чист, что поэты ощущают речную прохладу, что воспаленных от пыли глаз касается нежная влажность дыхания Волги. На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Почему так прозрачен и тепок голубоватый дымок горящих шансов? Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.

— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.

Метрах в пятидесяти от баржи гдрут выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб, с рассыпчатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, палескал водой на дощатую палубу. И тотчас еще бли-

же вырос и обрушился второй столб, за ним — третий. А в это время немецкие минометчики открыли беглый огонь по начавшей передраву дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи, тихо вскрикивали раненые так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, от врагов, от самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.

Был страшный миг, когда тяжелая мина ударила в борт небольшого парома, блеснуло пламя, темным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных бревен зеленеют тяжелые стальные каски пловцов. 20 гвардейцев из сорока на пароме погибли.

И правда, страшен был этот миг, когда гвардейская дивизия, сильная как Илья Муромец, не смогла помочь двадцати раненым, ушедшим под воду.

Ночью переправа продолжалась, и никогда, пожалуй сколько существуют свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи. Генерал Родимцев провел эту ночь в напряженной деятельности.

За время войны Родимцеву пришлось пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала со Сталинки прорвавшиеся эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам. Темперамент, сильная воля, спокойствие, быстрота реакции, умение наступать, когда всякому другому кажется, что о наступлении мечтать нельзя, тактическая опытность и осторожность, сочетающиеся с тактическим и личным бесстрашием, — черты военного характера молодого генерала. И характер генерала стал характером его дивизии.

Мне часто приходилось встречать в армии больших патристов своего полка, батареи, танковой бригады. Но нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. Он носит трогательный и подчас несколько смелый характер. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если прислушаться к командирам, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирошки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бьет,

лю и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» — только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь, ведёшь в нашей-то дивизии...» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу... генерал будет доволен, генерал будет огорчен». Ветераны, «фундаторы» как они себя называют, рассказывая о больших военных делах, обязательно вставят в разговор: «Да уж так повелось, наша дивизия всегда дерется на самых ответственных участках». Раненые в госпиталиях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть, пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию. Может быть, в эту ночь, когда последние подразделения переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой исключительно своеобразной и тяжелой обстановке, при которой дивизия вступала в сталинградские бои.

Действительно, трудно было бы придумать более сложную и неблагоприятную картину начала боя. Дивизия, вступая в Сталинград, разделялась на три части: во-первых, тылы ее и тяжелая артиллерия оставались на восточном берегу, отделенные от полков Волгой, во-вторых, полки, переправившиеся в город, тоже не могли держать сплошной линии фронта, так как немцы уже стояли между полками, переправившимися в заводском районе, и полком, переправившимся позже по течению, в центральной части города.

Я убежден, что именно это чувство своего «дивизионного» патриотизма, любовь, привычка, некое единство боевого стиля, единство характера дивизии и ее командира, в большой степени помогли разьединенным подразделениям действовать не вразброд, а как стройному целому, установить связь, взаимодействие и, в конце концов, блестяще решить общую боевую задачу, создать непрерывную линию фронта всех полков и образцово наладить снабжение боеприпасами и продовольствием. Этот дух общности был как бы основой для привлечения боевого умения, мужества и упорства командиров и бойцов дивизии.

В самом городе положение было тяжелым: немцы считали, что занятие Сталинграда — вопрос дня, может быть часов. Главной силой обороны являлась, как это часто бывало в тяжелые времена, наша артиллерия. Но немцы энергично и до-

вольно успешно боролся с ней силами своих автоматников. Условия города позволяли незаметно подкрадываться к пушкам и внезапными очередями выбивать расчеты. Немцы вот-вот собирались вырваться к берегу и опрокинуть нас в Волгу. Но педарем день и ночь шли в клубах пыли машины, педаром стена словно заволокло густым желтым дымом. Эта пыль и сегодня стоит над стеной, и сегодня гудят машины...

На утро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.

Дивизия сосредоточилась и была готова к бою.

Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющихся Сталинград войск? Дивизия, ты которой находилась за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а юдн полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжелым, что Родимцев прибег к пному, грозному, уже испытанному им под Киевом средству—он начал наступать. Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжко-израбаченный немцами город, с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.

Солнце восхода, словно огненный налившийся кровью скорби и гнева глаз, смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простертым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры пагих юншей, выделяющихся на бархатно-черном фоне покрывшегося копотью пожара здания Дворца физкультуры, на сотни молчащих ослепленных домов. И такими же налитыми кровью гнева и скорби глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившихся через Волгу. Немцы не ожидали наступления, немцы настолько были уверены в том, что методически отжимая нашу войска к берегу, сбросят их в Волгу, что капитально не закрепляли занятого пространства. Гвардейские полки Елина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Они не ставили себе первой целью соединиться, первой их целью было бить противника, отнять у него то, что составляло выгодные условия немецких позиций: возможность просматривать берег и Волгу, контролиро-

вать центральную переправу. Полк Елина пошел на штурм, не видя двух своих товарищей-полков. Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий. Он чуял дыхание двух гвардейских полков, близко, рядом, возле себя. Он слышал их тяжкую мостушь, грохот их артиллерии звучал, как братские голоса, дым и пыль сражения, взметнувшись высоко в воздух, говорили о движении гвардии вперед. Пикировщики, словно потревоженные галки, вились с утра до вечера над дерущимися батальонами гвардейцев.

Никогда еще не приходилось вести таких боев. Здесь все общепринятые понятия сдвинулись, сместились, словно в город над Волгой шагнули леса, степные овраги, горные кручи и ущелья, равнинные холмы. Здесь словно воедино собрались особенности всех театров войны от Белого моря до Кавказских гор. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарника и деревьев, напоминавших тропи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра, еще через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную, чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем как в дальней курской деревеньке. И эта резкая смена требовала постоянного напряжения командирской мысли, быстрой перестройки всех приемов боя. А иногда часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах, у стен дома, в заваленных дирнищем полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах, среди измятых постов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. И эти бои не были похожи ни на один театр от Белого моря до Кавказа.

В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжелыми стенами. Шесть человек саперов под лютым огнем чьющих смерть немцев, поднесли на руках 10 пудов взрывчатки и произвели взрыв. И когда на миг представил себе эту картину: лейтенанта сапера Четмакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, саперов Климченко, Шухова, Мессеранвили, ползущих под огнем вдоль разваленных стен, каждого с колотерачным запасом смерти, когда представил на миг их потные, грязные

лица, их потрепанные гимнастерочки, представишь, как сержант Дубовый крикнул: «Не дрейфь, саперы!»—и Шухов, кривя рот, отплеывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!»—то, право же, чувство великой гордости охватывает. Ведь какие молодцы!

А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым много связано в истории Сталинграда, курган, известный со времен гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли в плененные, где катались зимой на санях и на лыжах. Место, которое на русских и немецких картах обведено жирным кружком, место, о занятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиogramмой германской ставке. Там оно значится, как «господствующая высота, с которой просматриваются Волга, оба ее берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшное это слово—господствующая высота. Ее штурмовали гвардейские полки.

Много хороших людей погибло в этих боях. Многих не увидят матери и отцы, невесты и жены. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжелых слез прольют по всей России о погибших в боях за курган. Не дешево далась гвардейцам эта битва. Красным курганом назовут его, железным курганом назовут его—весь покрылся он колючей чешуей минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, темными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми, рваными кусками гранат, тяжелыми стальными тушами разороченных германских танков. Но пришел славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его оземь и наступил на него сапогом.

Полки дивизии соединились. Невиданно тяжелое наступление, начатое с берега Волги, чуть ли не от камой воды, завершилось успехом. Этим как бы закончился первый период боевой работы дивизии в Сталинграде. Этот период принес дивизии большой успех. Фронт, занятый ее полками, сплошной линией прошел по выгодным и устойчивым рубежам. Люди обогатились в этих боях огромным, бесценным опытом, который нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо мир не знал таких боев, как эти: войска с танками, артиллерией, минометными полками, поддерживаемые мощными воздушными армиями, сражались на улицах

и площадях огненного города. В этих боях сотни и тысячи людей, бойцов и командиров, узнали, что такое борьба за многостаянный дом; связисты научились тянуть провода не шлейфом, а отдельными линиями вдоль стен домов, с обходной, запасной, — в этих боях по-настоящему поняли значение радиосвязи; саперы познали, как нужно минировать и разминировать улицы и переулки. Вероятно, боец Хачатуров, сумевший под огнем разминировать 142 германских мины, мог бы читать лекции по этому вопросу. Бойцы и командиры полной мерой измерили ценность в уличных боях минометов, противотанковых пушек, ручных гранат, противотанковых ружей. Они научились маскировать в домах, подвалах могучую технику дивизии. По выражению командира полка майора Долгова, «гвардеец полибил бутылку с горючей жидкостью».

Начался второй период тяжелой битвы: оборонительная война с десятками внезапностей, с жестокими палетами пикировщиков, мощными атаками немецких танков, контратаками наших подразделений, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжелой пушки и пикирующего бомбардировщика, новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на минуту не смолкали пушки и минометы, где гул танковых и самолетных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны городу, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт — здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, шутят, следят за жизнью соседей, беседуют. Здесь живут люди, чей характер, привычки, склад души и мысли — плоть от плоти народа, посланного на трудный подвиг своих сыновей.

Мы пошли на командный пункт дивизии в девять часов вечера. Темные воды Волги освещало разноцветными ракетами. Они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зеленой, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу. Со стороны заводов слышалось «печатание» автоматов, оружейные залпы освещали белыми зарницами темные трубы, и на миг казалось, что

завод работает по-обычному, что это печатают ночные бригады клепальщиков, что голубоватые вспышки автогена освещают заводские корпуса и трубы. И онзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели германские мины, оскверняя волжский простор треском взрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лсящаяся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.

— Слышь, обед принесли?—спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж. Из темноты отвечает голос: — Давно пошли, да вот нет их обратно. Либо залегли где, либо не дойдут уже вовсе. Сильно очень бьет около кухни.

— Вот, паразит, обедать охота,—недовольно говорит сидящий, и зевает. Командный пункт дивизии размещен в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты: штольня выложена камнем, креплена бревнами, и, как в заправской шахте, по дну ее журчит вода. Здесь, где все понятия сместились, где продвижение на метры равносильно многокилометровым боевым движениям в полевых условиях, где иногда расстояние к засевшему в соседнем доме противнику измеряется двумя десятками шагов, естественно сместилось и взаиморасположение командных пунктов дивизии. Штаб дивизии находится в двухстах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае обрыва провода,—шутя говорит работник штаба.—легко поддерживать толесом: крикнешь—услышат. А оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно — она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземельи, где все ходит ходором от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь, ставший традиционным во всех очертках с фронтов войны, связист кричит: «Луна! Луна!» и здесь, скромно держа в рукаве махорочную палиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные. И сразу же здесь, в штольне, освещенной близинными лампочками, чувствуется, что к одному человеку тянутся все нити проводов из разрушенных домов, заводов, мельниц, занятых твердейской дивизией, что к одному человеку обращены вопросы командиров, что один человек немного

насмешливой, спокойной и внимательной речью определяет строй жизни гвардейцев. Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди с тренированной в боях волей ведут себя так, словно им легко, словно они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжелое дело земли. А ведь в штольне душно. Когда входит сюда свежий человек, большие капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — все дрожит от напряжения, от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов: дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах, и огромные желтые тени судорожно движутся по мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты: пыль, дым, осколки летели в штольню, из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучащем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмешливой речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плотину. И вражеская сила отхлынула.

Дивизия вошла в ритм битвы. Дыхание людей, биение сердец, короткий сон, приказы начальников, стрельба орудий, пулеметов, противотанковых ружей — все пахнуло в ритме битвы. Это, наверное, самое трудное, думается мне, в этих внезапных налетах пикирующих бомбардировщиков, в ночных и дневных штурмах фашистской пехоты, в стремительных наскоках десятков танков, вдруг появляющихся то на рассвете, то в три часа дня, то в убаюкивающем ложном спокойствии вечерних сумерек, — обрести чувство ритма. Ритм бури! Ритм сталинградской битвы!

Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем потном штурме участвовали немецкие саперы.

Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на самодельном столе пляшет, подпрыгивает, точно ее хватила страх и она хочет убраться из этой гудящей штольни, с метущимися по стенам мутными теньями. Стрекотнул автомат, звук его хорошо слышен здесь.

— Вот это немец,—говорит Родимцев.

Он рассказывает обстоятельно, не торопясь.

— Война здесь подвижная, гибкая,—говорит он,—она то ночная, то дневная. то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые палеты артиллерии и минометов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и группа закрепления. Штурмуют люди, вооруженные гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулеметами. А группа закрепления, пока штурмовая еще добивает противника, подтягивает боеприпасы, продовольствие, запасаец не меньше, чем на шесть дней—ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца, оказывается четырнадцать дней воевали в доме, окруженном «немецкими» домами. Эти двое — спокойно, эдак—потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли, говорят: «У нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят». Вообще война в домах своеобразнейшее дело. Особенности этой войны в Сталинграде—гибкость, резкие, почти мгновенные изменения тактики да и всего характера боев. То борьба за один дом, то вот, как недавно,—два полка немецкой пехоты и семьдесят танков внезапно обрушиваются на полк Панфилова. И эдак десять — двенадцать атак на день.

Я спросил его, не утомлен ли он этим круглосуточным напряжением боев, этим круглосуточным грохотом, этими сотнями немецких атак, которые были ночью, вчера днем, будут завтра.

Я спокоен, — сказал он, — так нужно. Я уж, пожалуй, все видел. Как-то мой командный пункт утюжил немецкий танк, а после автоматчик для верности бросил гранату, я эту гранату выкинул. И вот выжил, воюю и буду воевать до последнего часа войны.

Он сказал это спокойно, негромким тоном. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили, как полагается, о театрах.

— У нас тут тоже было два концерта—играл на скрипке в нашей трубе парикмахер Рубинчик.

И все вокруг заулыбалось, вспомнив о концерте. А телефоны за время этого разговора звонили раз десять, и генерал

чуть-чуть поворачивал голову, говорил два-три слова дежурному по штабу. И в этих коротких словах, произносимых легко, буднично, словах боевых приказов, была торжественная сила человека, овладевшего ритмом боевой бури, человека, диктовавшего этот страшный четкий ритм войны, ставший ритмом, стилем гвардейской дивизии, стилем всех наших сталинградских дивизий, всех советских людей, воюющих в Сталинграде.

Заместитель генерала Родимцева, полковник Борисов, отдавал последние распоряжения перед штурмом одного из домов, занятого немцами. Этот пятиэтажный дом имел большое значение — из его окон немцы просматривали Волгу и часть берега.

План штурма меня поразила множеством деталей, сложностью разработки. На аккуратно сделанном чертеже был нанесен дом и все соседние постройки. Условные значки показывали, что во втором этаже в третьем окне находится ручной пулемет, на третьем этаже в двух окнах сидят снайперы, а в одном расположен станковый пулемет, словом, весь дом был разведан по этажам, по окнам, по черным и нарядным подъездам. В штурме этого дома участвовали минометчики, гранатометчики, снайперы, автоматчики, в этом штурме участвовала полковая артиллерия и мощные пушки, нацелившиеся на том берегу, в Заволжьи. У каждого рода оружия была своя задача, строго сопряженная с общей целью. Взаимная связь, управление осуществлялись системой световых сигналов, радио, телефонами. Ведущая мысль этого наступления была одновременно простой и сложной: цель была бы ясна ребенку, а пути к этой цели казались настолько сложны, что только большой военной грамотностью можно было их достигнуть.

И в этом снова ощущалось своеобразие сталинградской битвы. Здесь сошталось огромное столкновение двух борющихся на жизнь и смерть миров, двух государств и математическая, планетически точная борьба за этаж дома, за перекресток двух улиц. Здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля. Здесь проходила борьба, решавшая судьбы мира, борьба, в которой проявлялись все силы и слабости народов. — одного, поднявшегося на бой ради порабощения всего мира, и другого, вставшего за мировую свободу, против рабства, чужды и угнетения.

Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на моторной

лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.

Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, были несущие смерть осколки, уголемо гудели в темном небе наши тяжелые бомбардировщики — сотни светящихся, вьющихся трасс, окрашенных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей, бомбардировщики прыгали по немецким прожекторам белые трассы пулеметных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжелых пушек, всей силой великой нашей артиллерии, на правом берегу земля дрожала от взрывов, широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами — земля, небо, Волга — все было охвачено пламенем. И сердце чуяло: здесь идет битва за судьбы мира, здесь решается вопрос всех вопросов, здесь ровно, торжественно, среди пламени сражается наш народ. Ему решать.

20 октября 1942 г.

ВЛАСОВ

Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбацкого серого паруса, — не увидишь и не услышишь ничего на Волге. Темная вода бежит под облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полосу берега? Почему с утра до заката солнца выются над этой бедной полоской земли десятки немецких истребителей, с угрюмым бесновением бомбят кажущуюся пустой землю?

Здесь переправа. И едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним в последние недели немцы выпустили 8000 мин и 5000 снарядов, это на них обрушились за полторы недели 550 авиационных бомб. Земля на переправе венахана злым железом. словно безумные кони, бесовые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, копали бедный клочок прибрежной земли огромными лемехами плуга.

В сумерках появляется темный, высокий силуэт баржи. Хозяйским хриплым баском покрякивает буксирный пароходик. Словно по чьему-то слову, чудесно оживает все вокруг: жужжат буксующие в песке грузопики, красноармейцы, шокрахтывая, несут плоские ящики со снарядами—патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает все ниже и ниже.

А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят темной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, произительно голоса, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежными лозами. Но никто не обращает на них внимания. Погрузка идет стремительно, слаженно, величественная своей будничностью. Под юглем немецких минометов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом и в их стеклянном-чистом свете меркнет мутное дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяет причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой преносился приглушенный, кажущийся издали печальным, звук человеческих голосов: «а-а-а...»,—то поднималась в контратаку наша пехота. Это претяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавало бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг, в котором воедино слились тяжелая будничная работа русского рабочего с доблестью солдата. Все они чувствовали значение своей работы. Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнений — все идет через переправу. И переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катера. Работает до последнего времени штурмовой мостик, наведенный с острова на правый берег Волги. Его строили у берега: стук есен толков и визг пил, режущих сосновые и еловые бревна, заглушал в людских сердцах тревогу; трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу: шесть-

десять пять станов плотов, с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тесом. Мост завели верхним концом по течению, и вода его стала заносить на правый берег. Шесть человек несли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количества металла, который потратили немецкие летчики, артиллеристы и минометчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного моста. Тем мужеством, тем самопожертвованием, тяжелым трудом, которые проявили бойцы понтонного батальона при восстановлении разрушаемых немцами пролетов штурмового мостика, держится связь страны с борющимся Сталинградом. Эта связь прочна и нерушима, ей порукой солдатская кровь и большие трудовые руки.

Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.

Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с темно-красным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший в команде, привыкший перекрывать грохот рвущихся снарядов—он даже во время бесед говорит, словно команду отдает.

— Ох, не люди у нас в батальоне,—говорит Перминов.—я даже не знаю, золото-люди. Горятся—мы ярославцы! Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вообще зачитали, собрание устроили—обуждали. Как петухи, гордятся: «Про нашу Ярославль как пишут!».

И вот, удивительная вещь, ведь работа на переправе — горькое дело. Последние дни авиация тучей над нами висит. Поверьте ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов, сплошная от этого боя и рана, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что заикнуться только об откомандировании человека—трагедия будет. Эвакуировали мы из них в тыл двух раненых красноармейцев, Волкова и Лукьянова, особенно досталось Волкову: в штурму осколки попала и лопатку рассекло. Пройдет несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились!

Я глазам своим не поверил, ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как то трогательно до слез и зло берет: ведь удрали, черти, из госпиталя. Что с ними тут делать—их ведь лечить надо, а под огнем, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас у всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. А народ привык к вечному огню, сам удивляешься.

Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустыня Волга, темная вода бежит под облачным осенним небом, холодом веет от нее. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер, с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов.

С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тушим бешенством карающей землю.

— Как можно спать при такой бомбежке?—спрашиваю я бойцов.

— Да вот спим,—говорят понтонеры,—день не поспишь, второй не поспишь, а шотом поустанешь как следует и все равно заснешь.

Люди на этом раскаленном берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминания о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится неужным, смешным. Много и талантливо писали об этом Дос-Пассос, Хэмингуэй, десятки иностранных писателей.

А русский человек, востигший в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда, такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покуривает, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело, кинется чаек среди

развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.

И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная, прекрасная своей святой будничностью жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий, подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня и отчаянно парится в ней. Лущуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких истребителей. При слабом свете, проникающем в блиндаж, вынут бойцы письма, но забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабушку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».

И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.

Немцы все неистовствуют над полосой волевого берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал пожар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:

— Разрешите доложить, кухня во второй раз взлетела. Вся, чисто, вместе со щами, мучкоткой, прямым попаданием!

— Немедля варить второй обед в котле,—сказал Перминов.

Жизнь упряма, крепок наш человек— его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычна к смерти тяжесть войны. Смерть идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба устроено кладбище. Среди желтых оловянных листьев стоят строгие холмики—могилы. Простые, дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти. Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смерчинского, основателя

переправы, прочтут имя его преемника чеченца, капитана Езаса, и прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов, и сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.

Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы, что события его жизни, черты его характера выражают собой характер целой эпохи, событий войны и мирных дней. И, конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за обороной, отец шестерых старательных, небалованных ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны,—он-то и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.

В этом высоком человеке, с темно-кариковым узким торбосым лицом, с тонкими губами и большими, тяжелыми кистями рук, воплотились многие черты народного характера. Власов—человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда — очень уж суров был этот никогда не улыбавшийся темнолицый человек с карики, тяжело и ярко смотрящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашика, гляди у меня, я не баловал в жизни, не вилянул ни разу, и ты не балуй!».

Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз славился лес по Волге. Власова все избрали главным бригадиром на плотях. — уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из Восточеката, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убит на войне—за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготавливать, говорил детям слушаться мать, писать, как справляются с работой. Провожали его родные без ватки, без песни—Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стиранных пер-

тянок, хлеба, десятков луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню—человек могучей аввакумовской души, ни разу не слухавший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе. Такие суровые души выковываются тяжким молотом векового труда, и можно было бы их назвать жесткими, не будь они столь бескорыстно преданы правде, труду и долгу. Таких людей как Власов, немало в нашем народе, и вряд ли думали немцы о них, начиная поход против России, — эту железную аввакумовскую породу невозможно ни согнуть, ни сломать. Они, Власовы, выразители не доброты и мягкости народного характера, они носители суровости, непримиримости, неистребимой неистовой силы русской народной души.

И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал, не ел он щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запирал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой истощенной жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже. Мальков, Лукьянов, Новожизов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.

Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивавшие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рынках, от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелей, прилежничавших к мрачному вею германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся в контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.

Вся сила его духа обратилась в одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.

Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном

моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь,—вода вскипела от частых жесточких разрывов.

Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:

— Вылезайте, на тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.

Как только ми просил, ми уговаривал его Власов!

Вылезь, к чертям собачим!—кричал Ковальчук.—я на переправе работать не буду, лучше в плен понасть, чем здесь работать.

Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми медленными словами. Вот дословно его рассказ:

— Знал бы я мотор, я бы его живо спешил... Весь день мы по острову, как зайцы бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут—дезертиры вы, говорят. Пришлось хитрость челать — перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подтизал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не рабстала. Вот оно что... Через несколько дней выстроили батальон, выгнали этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот преситься, плакал. Да какая тут жалость? Будь моя воля—я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал...

Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, гнилые щеки и прямой рот придают всему облику его выражению скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего, кровью проходящего в борьбе, народа.

— Потом Перминов сказал: «Кто хочет исполнить приговор?». Я вышел из строя. Ковальчук унал. Я взял у товарища винтовку и пристрелил его. Какая тут жалость?

И вот сержант Власов стоит на носу тяжелой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идет днем, положение таково, что никогда дожидаться ночи. Власов стоит прямой, упрямый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.

Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с черными, начавшими серебриться, волосами, говорит молодому бойцу: «Ничего, сынок. Хоть бойсь, не бойсь,—нужно!».

Тяжелая мина прощипала над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударились о борт, и тогда вторая мина взорвалась не долетев.

— Сейчас угодит, подлец, по нас, — сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта. Мина пробилась палубу, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшной вопля раненых, страшной тяжелого топота сапог, страшной чем разнесшийся над водой крик: «тонем», был глухой и мягкий шум воды. Горевшей в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла по середине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием преодолевая напор воды, плотной, стремительной, сильной, — словно вся Волга, напружившись своим огромным, великим телом, прорвалась в баржу. — он втиснул свернутую кляпом шинель в гробовую и навалился на нее грудью. Несколько мгновений, пока потеснела помощь, длилось это одиночество человека с рекой. Гробовую забкли. Власов уже был наверху, он перегнулся всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся темной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.

Обстрел продолжался. И эта баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» — это загорелись бутылки с горючей жидкостью.

Власов, некоричневый своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:

— Считай шинели, плащ-палатки, сукна тавай!

И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, разницей четыре тысячи тонн боеприпасов. Власов прошептал на нос и снова стал на посты. Боеприпасов, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.

Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.

1 ноября 1942 г.

ЦАРИЦЫН—СТАЛИНГРАД

«Рабочие и крестьяне, честные трудящиеся граждане всей России! Настали самые трудные недели. В городах и во многих губерниях истощенной страны нехватает хлеба. Трудящееся население охватывается тревогой за свою судьбу. Враги народа пользуются тем тяжким положением; до которого они довели страну, для своих предательских целей: они сеют смуту, куют оковы и пытаются вырвать власть из рук рабочих и крестьян. Бывшие генералы, помещики, банкиры поднимают головы. Они надеются на то, что принеженный в отчаянии народ позволит им захватить власть в стране...». Этими словами начинался один из самых ярких и сильных документов революции, подписанный Лениным и Сталиным, и опубликованный 31 мая 1918 года в «Правде».

Четверть века отделяет нас от того времени, когда рожденная в дыму и огне мировой войны, молодая республика билась за жизнь. 18 февраля 1918 г. германская армия начала наступать. В начале мая немецкие оккупанты захватили всю Украину, Крым и Белоруссию. Фельдмаршал Эйхгорн устроил свою резиденцию в Липках, самом красивом районе одного из красивейших городов Европы—Киеве. На Дону правил генерал Краснов. Деникин шел во главе добровольческой армии на Кубань, к Екатеринодару. В Грузии правили меньшевики, а немцы, приглашенные ими, хозяйничали в Тбилиси, направлялись к Баку.

В руках восставших чехословацких эшелонов находились летом 1918 года Ново-Николаевск, Челябинск, Омск, Уфа, Пенза, Самара, Симбирск, Екатеринбург. В Сибири организовалось белогвардейское правительство. Контрреволюционные восстания произошли в Москве, Ярославле. Дорожная была охвачена брожением. Голод и эпидемии вместе с контрреволюционными войсками истребовали центральные районы советской страны.

Казалось, горящая земля колебалась, обваливалась под когтями. Народ, измученный трехлетней мировой войной, народ, продолжительный реки крови, истерзанный разрухой и голодом, готов был пойти на войну за свою честь, свободу, землю.

Огромные тяжкие клещи контрреволюции вот-вот должны были сомкнуться вокруг Москвы и Петрограда. Враги теснились с севера и юга, с востока и запада. Сомкнулись эти клещи

щи,—советская страна, лишенная своих продовольственных ресурсов, вынуждена была бы занять круговую оборону перед фронтом всех враждебных революции сил. И последней крепостью советской власти, вставшей на пути немецких оккупантов и действовавших их оружием войск генерала Краснова, был город на Волге—Царицын.

В Царицыне должно было сомкнуться тяжкое кольцо вражеского окружения. Это хорошо понимали великие стратеги великой революции. Царицын, кроме того, лег на пути германского империализма, стремившегося к Каспийскому морю, Баку, на пути в Месопотамию, Аравию и Персию.

Был жаркий август. Но почам все ясней слышалась артиллерийская стрельба. Войска Краснова рвались к Царицыну. В середине месяца положение обострилось. Красновцы вышли к Волге северней и южней Царицына, охватив город в кольцо. Бой шли непосредственно в предместьях города—в Гумраке, Верениново, Садовой. Лучи прожекторов по ночам освещали улицы. Тревожно и протяжно были заводские гудки—рабочие завода «Дымо», оружейного завода, рабочие огромных лесопильных заводов бр. Максимовых, нефтеперерабатывающего завода Побель шли тысячами защищать свой родной город. Железным ядром царицынской обороны стали рабочие. Здесь, рядом с царицынским пролетариатом, сражались бойцы коммунистической дивизии, сплошь состоящей из донецких рабочих: шахтеров и металлургов. Сюда пришли они тяжким путем, отбиваясь день и ночь от наседавших на них белогвардейских войск, кровью своей восстановили под огнем артиллерии взорванный мост через Дон и соединились с царицынскими рабочими, чтобы разделить с ними тяжкие труды по обороне города. Сюда впоследствии пришел Роговско-Ситниковский рабочий полк, сформированный на «Гужене» и «Динамо». Здесь были Сталин и Вершинин.

15 августа 1918 года было критическим днем в обороне города. Многим положение казалось безвыходным и безнадёжным.

Ожидаемая из Астрахани помощь не пришла—в Астрахани вспыхнуло контрреволюционное восстание. 18 августа в два часа ночи было назначено контрреволюционное восстание в Царицыне. Заговор был раскрыт ЧК. Красная и белая газета «Солдат революции» в экстренном выпуске от 21 августа сообщала своим читателям: «В Царицыне раскрыт круп-

ный заговор белогвардейцев. Видные участники заговора арестованы и расстреляны. У заговорщиков найдено 9 миллионов рублей. Заговор вскоре пресечен мерами советской власти. Берегитесь, предатели! Беспощадная расправа ожидает всех и каждого, кто посягнет на советскую, рабоче-крестьянскую власть».

Красновцы делали все, чтобы захватить город, взорвать власть изнутри. Но город выстоял. Великими жертвами, бессонными ночами большой кровью, тяжким трудом рабочих, железной сталинской волей был отбит первый натиск враждебных сил, разбито кольцо окружения, восстановлены пути сообщения. Славно билась луганский и сиверский рабочие полки, бронепоезд Алябьева стремительно появлялся то на северном, то на южном участке фронта. Много крови пролили царицынские рабочие, комсомольцы, коммунисты, дни и ночи крошила врага красная артиллерия. 22 августа наши войска заняли деревню Ипчугу и Пресву. Ночью 26 наши части ворвались на станцию Котлубань, захватили трофеи и разгромили штаб Мамонтова. В этот день Сталин телеграфировал в Москву Пархоменко: «Положение на фронте улучшилось. Везите не медля все, что получили. Сталин». В беглой статье, конечно, невозможно последовательно восстановить все события первого и второго окружения Царицына 1918 года, деникинско-врангелевского похода на Царицын в 1919 году.

Когда думаешь о жизни этого города, о его суровой и благородной доле, связанной с тяжелыми молодыми днями советского государства, то ясно вырисовываются основные черты характера и судьбы Царицына. У города, как и у человека, своя судьба. Есть люди, чьим высоким уделом является тяжкий и крепкий труд. И всегда видишь такого человека где-нибудь в театральном зале, на выставке картин или в кругу семьи, одетого в летние туфли, в летнюю рубашку, светлый летний костюм, невольно угадываешь в быстром и резком повороте, во внезапном, на мигновение ставшем суровым взгляде, в властном спокойном слове, что судьба рано или поздно приведет этого человека к тяжким лишениям, к походам, к сухому солдатскому сухарю, угадываешь этого человека в дыму и пламени сражения.

Царицын-Сталинград город, стоящий на великом волжском рубеже, город между севером и югом, город, за спиной которого лежат и степи Казахстана, город, широкой грудью

своей, обращенный к западу, в хлебным богатствам Дона и Кубани, избрал себе гордый удел быть твердыней революции в роковой час народной судьбы.

Двадцать четыре года прошли с того времени, когда Царицын, выдержав напор врага, не дал соединиться черным силам, шедшим с юга и с севера, и словно занесенная тяжкая секира шлодился над равнинами с запада на восток немцами.

Прошло два десятилетия мирного строительства. Заросли травой окопы под Гумраком, Воробьевым, Бекетовкой. Деревья выросли там, где укрепили окопы. Ушли из жизни старики — рабочие, участники царицынской обороны. Стали седеющими когда-то черноволосые рабочие добровольцы. А те, кто был тогда мальчишками бегали среди дымящихся котлов красноармейских кухонь, кто подбирали стреляные гильзы и играл в войны, стали взрослыми людьми, отцами семейств, большими людьми советской державы. Они управляли своею двадцатипятилетием, возмраст молодого расцвета, в один день с двадцатипятилетием Великой Октябрьской Революции. Выразителем их жизненной судьбы, их мирного двадцатипятилетнего пути, их стремительного подъема от темных нечеловеческих работ беллоты к вершинам культуры, стал молодой сталинградец Виктор Хользунов, сын старого слесаря завода «Дюмо» Степана Гавриловича Хользунова. Бронзовый памятник Виктору Хользунову стоит над Волгой, на Сталинской набережной. Скульптору Балашову отлично удалась эта суровая, сильная фигура сына старого пролетарского Царицына, ставшего одним из руководителей нашей авиации.

Стремительен был рост людей Сталинграда, стремительен был рост самого города за годы мирной советской жизни. На гигантах — заводах — тракторном имени Дзержинского, «Красном Октябре», «Баррикадах», работали около 100 тысяч человек. Возникла судостроительная Сталинградская, реконструировались старые предприятия, возникли десятки новых заводов.

В городе, где в начале века были две гимназии, одна библиотека, один сиротский приют и 400 кабаков, и некому двух десятилетий мирной советской жизни возникли прекрасные вузы, с знаменитой профессурой — механический, медицинский, педагогический, где учились 15 тысяч студентов, возникли десятки техникумов, сотни школ, библиотеки, музеи.

Горд песчаных бурь и пыли был весь заасфальтированный

вокруг него выросло двадцатикилометровое зеленое кольцо, сотни гектаров фруктовых садов, кленовые и каштановые аллеи.

Город приземистых одноэтажных и двухэтажных домов, кривых улиц, стал городом великодушных высоких белых зданий, городом классической планировки, городом широких площадей, украшенных памятниками, площадей, обрамленных зеленью деревьев и нестрым узором цветников. Сотни забетонных рук мели, чистили, поливали улицы Сталинграда. Из города песчаных бурь Сталинград преобразился в город ясного волжского воздуха, город солнца и здоровья. Ночью с Волги Сталинград казался огромной многокилометровой гирляндой яркого электрического света. Красиво светились цветные рекламы магазинов, театров, кино, цирков, ресторанов. Музыка усиленная радиорупорами, слышалась далеко над Волгой. Городом гордились, город любили — и, правда, Сталинград стал одним из прекраснейших наших городов: городом труда, науки, жаркого солнца, широкого простора, городом Волги.

Сталинградцы любили свой город сособенной, горячей и верной любовью за тот непомерно тяжкий труд, за жертвы и лишения, которые испытали они в период строительства. Это были великие десятилетия, это не были десятилетия отдыха и передышки. Некоторым людям теперь, во время войны, прошитое мирное время кажется спокойной, безоблачной идиллией. Это неверно, конечно. В суровых условиях напряженного труда прошло время до войны, немало бурь пережизнала страна, нелегко далось ей выполнение великих планов коллективизации и индустриализации. Революция не для всех открывала пути восхождения, для некоторых она была гильотинной. Суровы и тяжелы были законы ее. Теперь, глядясь на прошедшие годы, видишь и ошибки, и промахи, сопровождавшие величайшую из строев, которую знал мир.

И сталинградцы помнят суровую пору строительства тракторного завода, первого гиганта первой пятилетки. Неповерчивым, холодным взглядом следила заградица за строительством. Сколько миллионов рабочих дней, какие суровые, жесткие пары в рабочих бараках, какой холодный, лютый ветер в декабрьскую стужу на строительной площадке. Сколько сверхчеловеческих усилий воли, такое напряжение ума! И столько трудностей, неполадок, сколько рабочего пота!

Вся страна следила за сталинградской стройкой, ратова-

лась ее успехам, скорбела о неудачах. 17 июня 1930 года завод был открыт. Начался период освоения сложнейшей, неведомой дотоле России техники поточного производства. Новые острые трудности, новая напряженная борьба. Иностранцы газеты предвещали гибель молодому заводу. Они считали неудачу свершившейся и писали: «Ввиду провала Сталинградского тракторного Советскому Союзу снова придется закупать тракторы за границей». Большой и малый конвейеры то и дело останавливались, пролеты не давали деталей. Но трудности остались позади. Любимый народом первый гигант первой пятилетки заработал полным ходом.

Когда экскурсионные пароходы приближались к прекрасному белому городу на Волге, отдыхающие на палубе люди видели не только тысячи сверкающих на солнце окон, зеленые сады, слушали музыку и шум трамвайных и автомобильных гудков. Они видели черный дым, поднимающийся над тремя гигантами: Тракторным, «Красным Октябрем», «Баррикадами», они видели, как сквозь задымленные окна цехов лилась в искрах сталь, слышали тяжелый грохот, подобный грозному морскому прибою. Это красный Царицын, это Сталинград напоминал людям, что он знает свою судьбу русской крепости на Волге, что он готов принять тяжелый и гордый свой удел в роковую час народной судьбы, что он не забыл заросших травой окопов над Гумракem, над Вороновым, над Садовой и Бекетовкой...

■ Днем 23 августа 1918 года, по приказу Ворошилова, рабочие шахтерские полки Коммунистической и Морозовско-Донецкой дивизий перешли в наступление на центральном участке фронта у Воронова; они кровью своей и жизнью отбрасывали наступавшего на город противника. Это было 23 августа 1918 года. 23 августа 1942 года, в пять часов дня, ровно через 24 года, семьдесят тяжелых немецких танков и колонны мотопехоты прорвались к детищу сталинградцев — Тракторному заводу. Одновременно с этим сотни бомбардировщиков обрушили мощный бомбовой удар на жилые кварталы Сталинграда. То был первый натиск фашистских полчищ, стремившихся к югу, рвущихся на восток, чующих волжские рубежи.

Город запылал, окутается дымом, огнем все пламя поднялось к небу. И словно не было двух десятилетий мирного труда, словно не легли эти десятилетия между временем первой германской оккупации Украины. Дана и вторым нашествием нем-

цов. И вновь в дыму, в грохоте битвы встал красный Царь-цын, Сталинград, город трудной и прекрасной судьбы.

Нельзя даже сравнивать силу немецкого удара в августе 1942 года с силой натиска красновцев в 1918 году. Удары танковых дивизий, страшный огонь тысяч орудий и минометов, ожесточенные налеты воздушных армий — вряд ли в истории даже последней войны были удары подобной силы. Все изменилось в ведении войны за эти десятилетия. Не так выглядело поле сражения, не так шло управление боем, не такими средствами осуществлялись огневые удары. Стремительно маневрировали танковые и моторизованные войска. Шли в воздухе бои, которых никто не мог представить себе в 1918 году. Небо и земля взаимодействовали, огромные массы людей и металла стремительно перебрасывались самолетами с одного участка фронта на другой. Все изменилось, все было иначе, огромней, сильнее, стремительней. И лишь одно осталось неизменным, таким, словно люди того же поколения вышли на оборону Сталинграда — мужественное сердце великого народа. Сердце Якова Ермака, Николая Руднева, Алябьева не перестали биться 23 года тому назад. В страшный час, когда 80 немецких танков внезапно подошли к окраине Тракторного завода, а сотни самолетов жгли жилые кварталы города, рабочие Тракторного завода и «Баррикада» продолжали свою работу. 150 пушек выпустил завод в одну ночь. 80 танков были выпущены из ремонта с 23 по 26 августа. В первую ночь сотни рабочих, вооружившись автоматами, станковыми и ручными пулеметами, заняли оборону у северной окраины завода. Они дрались рядом с дивизионом тяжелых минометов лейтенанта Саркисяна, первым остановившим немецкую танковую колонну. Они дрались рядом с зенитчиками подполковника Германа, которые половиной своих орудий били по немецким пикировщикам, а половиной расстреливали прямой наводкой немецкие танки. Бывали минуты, когда гул бомбовых разрывов поглощал все звуки и подполковнику Герману казалось, что выдвинутая вперед батарея лейтенанта Свистуна раздавлена совместным натиском немецкой авиации и танков. Но через некоторое время вновь слышалась размеренная стрельба зенитных орудий. Сутки протерпела батарея, не имея связи с командованием полка. И вечером 24 августа трое бойцов вынесли раненого Свистуна. Они были единственными уцелевшими. Но первый натиск противника был отбит. Немцам не удалось

взять город в ход. Началась борьба на подступах, на улицах города, на площадях, в рабочих поселках, на территории цехов сталинградских заводов-гигантов.

Семьдесят дней идет борьба в самом Сталинграде*, 100 дней длится борьба, если считать бои на дальних подступах к городу. Железными буквами нужно навечно записать в историю советской страны имена знаменитых снайперов Чехова и Зайцева, имена 33 героев, отразивших атаку колонны тяжелых танков, имена рабочих добровольцев Токарева и Полякова, имя комиссара противотанковой бригады Кривоша, и многих, многих летчиков, танкистов, минометчиков, стрелков, имя девушки-сталевара Ольги Ковалевой, имя сержанта Павлова, который уже 50 дней со своим отделением держит дом у одной из центральных площадей Сталинграда. «Павловский дом» называется в официальных сводках это задание. Их кровью, их волей, их мужеством держится Сталинград.

Уже сейчас можно говорить о том огромном значении, которое сыграла героическая оборона Сталинграда. Потери германской армии огромны, количество убитых и раненых немцев приближается к 200 тысячам. Тысяча танков, больше тысячи орудий и самолетов превращены в груды металлического лома. Но если можно восстановить потери в технике, если можно приплатить на убой новые толпы немецких солдат, то нет в мире силы, которая вернула бы немцам потерянные 3 месяца, нет уже способа восстановить рухнувший темп летнего наступления. Тактический успех германского летнего наступления не увенчался главным стратегическим результатом. Движение на восток и на юг приостановлено. Волжская крепость выстояла. Город, избравший своим гордым и тяжким уделом быть крепостью русской революции, город, сумевший на первом году республики сдержать натиск врага, сейчас, в пору его тридцатипятилетия, снова сыграл решающую роль в ходе великой отечественной войны.

И вот он лежит в развалинах, то дымящихся и теплых, как еще не остывшее тело, то холодных и мрачных. Ночью луна серебрист рухнувшие здания, расщепленные пенки срезанных снарядами деревьев, пустынные асфальтовые площади в зеленоватом холодном лунном свете блещут точно покрытые льдом озера, и словно проруби темнеют на них огреты

* Очерк написан в начале ноября 1942 г.

ные ямы, пробитые фугасными бомбами. Молчат развороченные снарядами заводы цеха, не дымят трубы, могильными холмами возвышаются щетники, украшающие заводские дворы. Город мертв? Нет, город жив! Он не знает ни дня, ни ночи. Даже в короткие минуты затишья в каждом разрушенном доме, в каждом цехе завода идет напряженная жизнь. Зоркие глаза снайперов выекаивают врагов, ходами сообщений, среди развалин несут снаряды, мины, патронные ящики; наблюдатели, засевшие в верхних этажах, ловят каждое движение противника. Командиры сидят, склонившись за картами, в подвалах, писари выписывают донесения, политработники читают бойцам доклады, шуршат газетные листы. Труднообидно делает свое опасное дело саперы. Кажется, что безлюдны, пустыни и мертвы развалины. Но тут из-за угла медленно и осторожно появляется немецкий танк. Тотчас же не спящий днем и ночью бронебойщик дает выстрел по фашистской машине. Немецкий пулеметчик, прикрывая танк, начинает бить из окна дома по кирпичному прикрытие бронебойщика. Наш снайпер, сидящий на втором этаже соседнего дома, и, прикрывая своего бронебойщика, бьет по пулеметному гнезду немцев. Видно, немец ранен, а может быть, и убит. — пулемет замолкает. И тотчас же слышатся разрывы немецких мин — красные куски кирпича летят со стены дома, в котором пригнулся снайпер, — это немцы метят за пулеметчика. Наш наблюдатель сообщает данные о немецкой батарее, и советские пушки, до этого молчавшие в окнах, парадных дверях домов, открывают огонь. Немецкий танк уленетнул, снова ушел за угол дома. Быстро меняют свои позиции снайпер, бронебойщик, легкие полевые пушки. Так бывает в редкие минуты затишья.

А большей частью дома, площади, заводы грохочут огнем, взрывами. Нелегко сейчас жить в Сталинграде.

Передо мной лежит обрывок бумаги, написанный карандашом. Это полученное недавно донесение в штаб батальона от командира роты. Вот текст его: «Вр. 11-30 гв. ст. лей-ту Федосееву. Донесу, обстановка следующая: противник старается окружить мою роту, засылает в тыл автоматников, но все его попытки не увенчались успехом. Гвардейцы не отступают. Пусть падут смертью храбрых бойцы и командиры, но противник не должен пройти нашу оборону. Пусть знает вся страна 3-ю стрелковую роту, пока командир жив, ни одна фашистская б... не пройдет. Командир 3-й роты находится в напря-

жесткой обстановке и сам лично физически нездоров, ослеп и слаб. У него головокружение, он падает с ног, из носа течет кровь. Несмотря на все трудности, гвардейцы 3-й роты не отступают назад, погибнем героями за город Сталина, да будет врагам могилой советская земля! Надеюсь на своих бойцов и командиров, через мой труп ни одна фашистская гадина не пройдет. Калеганов».

Нет, великий город не умер! Земля и небо содрогаются от гула нашей могучей артиллерии, сражение идет с той же силой, как два месяца тому назад. Десятки тысяч живых сердец мерно и сильно стучат в сталинградских домах—это сердца сталинградских рабочих, донецких шахтеров, горьковских, уральских, московских и павловских, вятских и пермских рабочих и крестьян. Об эти железные сердца разбились немецкие атаки. Эти сердца самые верные в мире.

Никогда Сталинград не был так велик и прекрасен, как теперь, когда, обращенный в развалины, он торжественно славится свободолюбивыми народами мира. Сталинград жив. Сталинград борется. Да здравствует Сталинград!

3 ноября 1942 г.

ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Они видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые, круглые, чуть желтые, чуть зеленеватые глаза, не поймешь светлые они или темные, видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымы костров и кухни, машины и конные обозы, ползущие к городу с заката. Иногда бывает очень тихо и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна поемкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает «не слышу».

Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил новозеландскую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с

ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, заботливый неприступное сердца рабочих стариков своей готовностью помочь обиженному, с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его был жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерью. Годы за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком. Незаменимым и всеми уважаемым мастером.

29 марта 1942 года его вызвали известием в военкомат, и он попросился в школу снайперов. «Вобще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, — говорит он, — но хотя я в школе снайперов имел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных.

Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет». Но Чехов не стал расстраиваться. Он добавил в дневным часам занятий долгие ночные часы. Десятки часов подряд читал теорию, изучил боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги. Он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через 9 линз оптического прицела, он понимал гнутый, теоретический принцип всех прицельных движений: и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподнимающегося при прицеливании с горизонтальными линиями... И объемное, широкое, четырехкратно приближенное изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.

Лейтенант оптика. При стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов порази «в голову» всеми тремя патронами вальцовую вращающуюся фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором учить курсантов — и снайперской и обычной стрельбы, и стрельбы из автомата и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе и на курсах, утро, и в военном деле

он легко и совершенно овладевал пониманием различных предметов.

Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не стрелявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел быть по живому», захотелось пойти на передовую. «Я хотел лишь стать таким человеком, который сам уничтожает врага», — сказал мне Анатолий Чехов.

На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «сколько до того дерева?» и шагами прозверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на глаз с точностью до 2 — 3 метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию 9 двойных выпуклых и выпуклых линз. Самый интеллигентный солдат научился он воспринимать как сорочкуность ориентиры: березки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник. Помогали быстро и холодно — точно повернуть дистанционный маховичок.

В первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их. И в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные, молодые руки и ноги, ясные, совершенные глаза, но и думать, думать напряженно, быстро, трудно, как пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школьников закатывать педагог.

С первых же дней боёв он перестал воспринимать сражение как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник. «Было ли странно в первые дни? Нет. У меня такое чувство было, что я учу бойцов маскироваться, стрелять, наступать, словно это и не война».

На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот обращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость это забвение, приходящее в бою. Другие чисто сердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляют усиленно воли, потирая голову, выдвигать толстые пальцы навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверен в том, что меня никогда не убьют».

Казимир Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотестрелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убежден в своей смерти и ему все равно, случится с ним смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под вечным огнем. У большинства в подоснове мужества и презрения к смерти лежит чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесенные оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы. Некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал:

— Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить.

Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, перелетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.

Но если каждый отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху мать, жену, малых ребят.

У Чехова увидел я еще одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «крутую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти, так же, как орлу чужд страх перед высотой.

Он получил свою снайперскую винтовку перед ретером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — засесть ли в подвале, или засесть на первом этаже, укрыться ли в груде кирпичей, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дом перчатного края нашей обороны — окна с обгоревшими досками занавесок, свисавшую железными слуганскими носами аматуру, прогнившие балки межэтажных перекрытий, обломки трельжей, истуканчики в пламени никелированные остовы двухспальных супружеских кроватей. Его пыливый и сверлящий глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он ретеля вело и

педы, висевшие на стенах над прамастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблескивавшие осколки зеленоватых хрустальных люмен, куски зеркала, порывшиеся и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покорежившиеся куски жести, развешенные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, сбавившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы — мышки и кости герота. Чехов сделал выстрел — он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц и прямоугольниках створчатых дверей видны были пустые коробки, этажи различались лишь по разной окраске стен — квартира второго этажа была розовой, третьего — темно-синей, четвертого — фиантковой с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор — прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше метрах в 600—700 начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него: он становился совершенно невидим в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Виновку он положил на чугунный узор печи. Он поглядел вниз. Привычно спрестелл ориентиры, их было немало. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в 100 метрах от того места, где сидел Чехов. Несколько минут юнона смотрел на немцев. Он медлит. Это странное чувство перенителъности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Ичелинцев, ижеживавший в школе снайперов и вспоминаящий о своем первом снайперском охотничьем выстреле по фашистскому солдату.

Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темно-синим. Словно серые тихие покойники стояли высокие створчатые дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, желтая, как толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медно-желтой спелой, а свет ее, словно отделенный от стены, сухой, белый воск казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот розовый белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на побелевшие окна.

как лед, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной тени эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на тротуарах испуганных мамин, этих мальчишек и девчонок со старческой серьезностью, проталкивавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска, этих стариков, кутающихся в бабьи платки, городских бабушек, надевших поверх кацавеек пальто и пинетки сыновей.

Тень мелькнула по карнизу. Военным прошла большая шинельная колонна, распустив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья. Послышался сердитый гомон немца, истошными выстрелами, отчаянный визг собак и свист злобный, трескотный и дружный лай: это верные друзья нем мочили немцам шарики в ночное время по раздумным изгородям. Чехов приоткрыл глаза, и увидел — в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры, немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — немцы были быстрые сразу же демаскировались бы снайпера. Ох, чего вы смотрите! — подумал с тоской Чехов и сразу же, едва появившись у него эта мысль, где-то сбоку, густо, с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов стал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекла, стал спускаться вниз. В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант сидел на наклонившейся кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плетеных и шпалерных одеял. Чехову разлили чаю в жестяную кружку: чайник только что закипел и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось и он отказался от липкой каши, сидел на кирпичиках, рассматривал немчицу с нашивкой «Жена не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: о том, какие были кино и какие в них показывались картины, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девицах. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой видение мертвого Сталинграда, освещенного лунной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяготы жизни. «Отец ча-

сто шумел, — мне и читать, и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», — печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесенного немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, что жгло его. Чехову казалось, что минюток, в который он был обжигает ему пучок.

Сержант проснулся, заскрипел пружинами кровати и спросил:

— Ну, что, Чехов, много на почив убили сегодня немцев?

Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:

— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.

Утром он встал до рассвета, налил в баклажку воды и положил в карман пару сухарей. И не поив, не поевши, поднялся на свой пост. Он лежал на хитрых камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утраченного солдата, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла, холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицером митя. Чехов повернул дистанционный маховик, поднял вверх крест иттен, он отнес принцип от носа солдата на 4 сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пистолета хлынуло что-то темное, голова полетела назад, ведро упало из рук, солдат упал набок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец, в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пойти к исчезающему с ветром. Но он не пришел. «Три», — сказал Чехов и стал считать. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы хотели идти, расположенный за домом, стоявшим насквозь. — туда всегда бежали солдаты, держа в руках белую бумагу — документы. Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы в дом напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы носили обед и воду для умывания и итты. Обедали немцы пухомитку. Чехов знал их

меню, утреннее и дневное,—хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его, примерно, 30—40 минут и после кричали хором: «Рус, обедать!». Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство: ему веселому, сменливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспокоен. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тулупы, фуражки, они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, илосте. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами стучал от желания пригнуть их к земле, вогнуть в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стремившийся в детстве из рогаatii, «жалел бить по живому», стал странным человеком-истребителем оккупантов. Разве не в этом железная, святая логика отечественной войны.

К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно, из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним па вытяжку. И снова Чехов получил дистанционный маховик, как т. н. т. п. п. п. п. Офицер метнул бомбой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.

Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегающего человека, легче, чем в стоящего. — Колпакище получилась точно в голову. Он сделал одно открытие, помогающее ему стать неприятным для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле во вынышке, и Чехов стрелял всегда из фоновой стены, не выныгая дуло винтовки до края стены сантиметров на 15—20. На белом фоне выстрел не был виден.

Он желал теперь лишь одного, чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост, он желал пригнуть их к земле, вогнуть в самую землю. И он добился своего. К концу первого дня немцы не ходили, а бегали. К концу второго дня они стали ползти. Утренний солдат не пошел уже за водой так офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером того дня, валялся на спусковой крышке. Чехов сказал: «семнадцать». В этот го-

чер и мелкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку: «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором: «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь—били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» газовые автоматчики. Они уже больше не кричали: «Рус, ужимать».

Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты—немцы копали в мерзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы—они отказались от штыков, но хотели по этим траншеям подтаскивать бронеинасы. «Вот я вас и пригнул к земле», — подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразуру. Второе ее не было. Чехов понял: «немецкий снайпер». «Гляди» — шепнул он сержанту, принесшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Из амбразурки вылетел снайперский автоматчик, успевший сделать ни одного выстрела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить их в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно в траншею. «Вот и рогнал тебя в землю», — сказал Чехов.

На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Нато было менять позицию, немцы начали ходить и стрелять. Он лежал на плащатке и смотрел своими молодыми глазами на умерщвленный немцами Сталинград, юпона, «жалевший бить по живому» из р-гатки, ставший железной и сгятой логикой отечественной войны страшным человеком, мстителем.

16 ноября 1942 г.

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гурьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидели люди дивизии в октябрьское утро 1942 года. Темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уж кое-где тронутые сле-

тами смисл, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие доски ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За синей была холодная темная Волга. Ночью саперы взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивались убежища. Поляки Маркелова и Михалева обстреливали завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходящем под зданиями главных цехов. Полк Сергеев обстреливал район глубокой балки, шедший через заводские поселки к Волге. «Лет смерти» называли ее бойцы и командиры полка. Да, за синей была ледяная темная Волга, за синей была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть. Прошлая мировая война стояла России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне черная сила протитника делалась между западным фронтом и востоком. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двинулись от моря до моря. В нынешнем, 1942 году, немцы всю силу этого удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распространилось на два фронта великих держав, что в прошлом году лавило на Россию, на одну Россию фронтом в 3.000 километров, нынешним летом и нынешней осенью, тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ. Но мало того, здесь в Сталинграде немцы вновь застали свое наступательное тавление. Они утапливали свои усилия в южных и центральных частях города. Всю синевую тяжесть бесчисленных минометных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады». Немцы полагали, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких паров, которые не погасли бы в диком аду огня, кипящего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь

был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма—тяжелые и огнеметные танки, шестиствольные минометы, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и минометчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжелых дальнбойных пушек. Здесь бросались мины, похожие на безобидные зеленые и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объемом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днем было темно от дыма горящих зданий и дымовых завес германских маскировщиков. Здесь грохот был п. как, а короткие минуты тишины казались более страшными и зловещими, чем грохот битвы. И если мир склонится головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом Сталинграде, бойцы Шумилова с почтительным уважением произносят:

— Ну, что вы! Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь гасит над ними туча огня, дыма, палящих пикировщиков, а Чушков стоит.

Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, крепкий, и они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый 50-летний человек, в 1914 году ушел со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чартерийском.

28 лет своей жизни посвятил полковник России ту войну, воевал и утратил романцов. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и полу-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник

вспомнил и сыновей — лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков военитальных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он в суровом нестоекствии преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: смичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, — тех, с кем сулила ему судьба отразить удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, бесстрашно и решительно учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные марши, утомление танцами сидящих в щелях бойцов, долгие марши, — все же во много раз легче и труднее сама война. Он верил в стойкость и силу сибирских полков. Он прорвался в долину, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезд винтовку, сбросил, поднял винтовку и три километра бежал до станицы, чтобы не отстать от фронта эшелон. Он превратил стойкость полков в сталинградскую стени. где впервые в истории войны спокойно образили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он превратил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток преодолели расстояние в 200 километров, и все же с полным вниманием поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знавший усталости, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, выжили на железной вере. В этом небольшом сухощавом и молчаливом человеке, с лицом, речью и руками крестьянина, жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политическим частям Свириг обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью. Он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где раздал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командир полка

ков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полка вника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о неистощимой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимца полка, по-отечески заботливого к подчиненным, мягкого и «симпатичнейшего человека», не знаящего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением, и все же с волнением глядели на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж Сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли», — думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменную пещеру Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протяннулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занятой в Завалижье огневой позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился светом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд бомбили «Юнкерсы-87» на оборону дивизии. Восемь часов без единой минуты перебега или гола за волной немецкие самолеты. Восемь часов были сирены, свистали бомбы, сотрясалась земля, дымились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли. Смертно были окопаны. Тот, кто слышал вопль востуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного беспримысленного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки истребителей бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами. Когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля, упрямо тремела гнилыми зданиями, рождала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мертвой злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопанная в землю, не согнулась, не сломалась, но была одна — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов, приближались к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хорнили красноармейцы своих погибших това-

рицей. Это был первый день, — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские и минометные батареи, и мало кто спал в эту ночь.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше 20 лет. Люди, расставшиеся молодыми, не женатыми, встречались уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись и все вокруг: начальники их штабов и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слезы на глазах седых людей.

— Какая судьба, какая судьба, — говорили они.

. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности, в грозный час, среди гвардейских заводов корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.

Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва грохотало солнце над венаханской немецким железом землей, появлялись соросники овщиков, и снова завывали сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднималось над городом, закрывая землю, пехи, разбитые вагоны, и также высокие раздалекие трубы потонули в черном тумане. В это утро поля Маркетова не остался в земле. Он вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и пошел в наступление. Батальоны шли вперед через горы пшеницы, через развалины домов, мимо гранитных ватны заварочной конторы, через рельсовые пути, через свиньи городского крепостя. Они шли мимо тысячи безразличных, выжженных бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство сущего страха охватило их: кто-то ли они в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Поля Маркетова прошил километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знает, что такое километр. Это — тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали поля по миссу раз проросхотящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжелые танки и пулеметы, забирали позиции голым железом. Пыльные автоматчики лезли с упреком дупатого. Немецкому рассказать о том, как сражался поля Маркетова. По-

весть эту расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рождались русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повздою, поротно, побатальоно.

На третий день немецкие самолеты летели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца и из высокой тьмы ночного неба возникали роющие голоса сирен «Юнкерсов», и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые залеты, по ночам они вели нематывающий методический огонь. Вместе с ними работали минометные батареи. Это было направление главного удара.

По несколько раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, минометы, вдруг исчезала давящая сила пикровишнев. Наступала необычная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!» и боевое охранение хваталось за бутылки горючей смеси, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки патронов, автоматчики обтирали ладонью свои ЛППШ, гранатометчики поближе подвигали ящики гранат. Эта короткая минутная тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лег сеточ гусениц, низкое гудение которых оповещало о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева преследуются автоматчики.

Иногда немцы подходили на расстояние 30—40 метров, и иногда видели их грязные лица, порванные чинтолы, слышали картавые выкрики нескверканных русских слов, угрозы, речевки, а после того как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикровишнев и огневые залы артиллерии и минометов. В отражении немецких атак велика заслуга нашей артиллерии. Командир артиллерийского полка Фугенбиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передо-

той. Радио связывало их с огневыми позициями и десятками мощных дальнебойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей, она прикрывала стальным плащом пехотные позиции, она карежила, как картон, тяжелые немецкие танки, с которыми не могли справиться бронебойщики. Она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков. Она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения. Она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие минометные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.

В течение месяца немцы произвели 117 атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота 23 раза шли в атаку. И эти 23 атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, немецкая авиация висла над дивизией 40 — 12 часов. Всего за месяц 320 часов. Оперативное отделение подсчитало атак немецкое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это цифра с четырьмя нулями. Такой цифрой определяется количество немецких самолетов. Все это происходит на фронте длиной около полутора—двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь и уничтожить государство. Немцы полагали, что сломают моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекроют предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильнее и смелее. Молчаливый, кряксивый сибирский народ стал еще суровее, еще молчаливей, ввалились у красноармейцев щеки, широко смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармонички, ни веселого легкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое—четверо суток кряду, и командир дивизии—сестой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью улавливал слова, тихо сказавшие ему:

— Есть у нас все. товарищ полковник, и хлеба—де-

вятьсот грамм, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он, когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы слезнуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боев. Еще прочней и совершенней стала оборона. Перед заводскими цехами выросли целые пореплетения саперных сооружений — блиндажи, ходы сообщения, стрельбовые ячейки, инженерная оборона была вынесена далеко вперед, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные маневры, сосредотачиваться, рассылаться, переходить из цеха в скопы ходов сообщения и обратно, в зависимости от того, куда обрушилась своя удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появились танки и пехота атакующих немцев. Были сооружены подземные «усы», «щупальцы», по которым нетребители подбирались к тяжелым немецким танкам, останавливающимся в ста метрах от зданий цехов. Саперы минировали все подходы к заводу. Мины приходилось носить на руках по две штуки, держа их подмышками, как хлеб. Этот путь от берега к заводу был протяжением 6—8 километров, и полностью престреливался немцами. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предзвездные часы, часто на расстоянии 30 метров от фашистских позиций. Так было заложено около 2 тысяч мин под бревна разнесенных бомбежкой домов, под кучи камней, в ямы, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие тома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжелыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслосетей, водопроводов. С каждым днем совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазные пушки мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.

Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый

организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого сталинградского рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда—они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пиццу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских постарей, приносили под огнем на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далеких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо знали шестиствольный немецкий миномет «дурилой», а имитирующих бомбардировщиков с sireнами «скрипунами» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и курчавших: «Эй, рус. буль-буль, сдавайся»,—они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец все гнилую воду пьет, или не хочет великой?». Им казалось, что они были те же, и только вновь приехавшие с другого берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха, людей, для которых не было больше слов «жизнь и смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушие к смерти, их спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.

Героизм стал бытом, героизм стал стилем жизни и ее людей, героизм сделался будничной, как-тодневной привычкой. Героизм везде и во всем. Героизм был в работе пожаров, чистивших под сжигающим огнем термитных снарядов картинку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц Тоня Егоровой, Зоя Калгановой, Веры Калыги, Натаи Кастериной. Люди Нерисовой и многих их потруж, перегрызавших и лопивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть глазами со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии. И в том, как командир взвода связи Хачинский, мирно сидя на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику» в то время, как десяток немецких имитирующих с ревом бегали землю, и в том, как офицер связи Багратов, аккуратно протирал очки, развешивал в полевую сумку документы и отгулывался в двенадцатикилометровый путь по «дороге смерти» с таким

будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Келосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землей и обломками досок, повернул к заместителю командира Смирнову лицо и рассмеялся. И в том, как машинистка штаба, красноречивая толстуха — сибирячка Клава Кельмиса начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешила печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и все же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на полки.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара. Об их нестигаемом укреплении больше всего знает сам немцы. Ночью в блиндаж к Смирнову пришли пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно черные от грязи, превратившийся в тряпку широтной марфарикрыгал шею. Это был немец из привычных стальных частей немецкой армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов, пленному перевели вопрос Смирнова: «Как расценивают немцы соотношение в районе завода?». Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О», сказал он и вдруг разрыдался.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.

В конце второй декады немцы предприняли решительный наступок завода. Такой подготовки к атаке не знает мир. 80 часов и ряд работала авиация, тяжелые минометы и артиллерия. Три дня и три ночи изрыгались в хвост дыма, огня и грохота. Шипение бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дуриков», гул тяжелых снарядов, протискивающийся сиреной или воплем стальных людей. Но они лишь предисловие к главному. Рядом с ними в воздухе, в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было 80 часов. Затем подготовка к началу, и сразу же в 5 утра в атаку пошли тяжелые и средние танки, легкие бронеавтомобили, пехотные и мотопехотные полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от внешнего мира обороны. Казаков, что личная управления дивизии полагает, что командные пункты, командные подполковники,

прямой удар броненосца, обречены на уничтожение, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости со своими укреплениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжелый час, командиры, штабные работники преобразили командные пункты в укрепления, и сами, как рядовые, отражали атаки врага. 10 атак отбил Чамов. Сгромающий рыжий командир танка, оборонительный командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подползших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномета. Лейтенант дивизии, командир полка Михалев, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. «Убило нашего отца», — говорили красноармейцы. Сменивший Михалева майор Кунцеров перенес свой командный пункт в бетонную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вели бой у входа в эту трубу Кунцеров, его начальник штаба Дятленко и шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот неслыханный по ожесточенности бой длился, не переставая, несколько суток. Он шел уже не за отдельные дома и цехи, он шел за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный стаяк, за пролет между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это означало, что там уже не было ни одного красноармейца. Все шло так, как будто великан танкист, фехтуя когтем так и не устал Чамов, как саморез Косигов, торжествующий и ку из гранаты зубами, так как у него была неубита легкая рука. Потопили сильно переделанную старую лодку в живых, и бывали такие минуты, когда 10 активных витков успешно борзели обреченно, занимаясь ботаникой. Много раз подползли запертые цехи от силовиков и великан, и снова силовики захватывали их. В этом бою немцы пытались занять ряд зданий и разбитых цехов. В этом бою немцы достигли максимального напряжения атак. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Сильно поднимая нестерпимую тяжесть, они на-

вали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Бривая немецкого напора начала падать. 3 немецких дивизии дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоило 117 нехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческое напряжение. 2 тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, миц, авиабомб упали на заводской двор и цеха, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковалось это великое упрямство. Тут сказались и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое кряжистое сибирское упрямство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать еще об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее, — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Дух спартанской скромности свойственен всему командному составу дивизии. Он сказывается и в бытовых мелочах, и в отказе от положенных законом ста грамм водки во все время сталинградских боев, и в разумной немудливой деловитости. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал ее в словах красноармейца из полка Михалева, отвечавшего на вопрос: «Как живется вам?».

— Эх, как живется. — остались мы без отца.

Я увидел ее в трогательной встрече седого колхозника Гурьева с горювшей после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя», — тихо сказал Гурьев и быстро, с притянутыми руками, пошел навстречу худой, стриженной девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в странном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба братья за пулемет, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, тыфедные к командным пунктам.

Жены и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этим хорошим, верным

людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память наших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим проград, наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.

Ноябрь 1942 г.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Шестнадцатого декабря днем подул сильный северо-восточный ветер. Темные мокрые облака, теряя тяжелую влагу, поднялись вверх, посветлели. Туман стал мерзнуть и оседать белым пухом на проводах военного телеграфа и на низко подстриженных минными осколками прибрежных деревьях. Души, стоявшие в снарядах воронках, заковало белыми пластинками льда. Белый пар пошел по створным стеклам грузовиков, обращенных к ветру. Темные тела пухлых мин и тяжелых снарядов, сложенных в ямах у восточного причала переправы, покрылись легким инеем. Земля стала звонкой, воздух просторным. И на западе, над туманом каменистым кружком мертвого горда поднялся безмятежно богатый красный закат.

Ветер и течение гнали по Волге огромную трехсотаженную льдину. Она пропала мимо Спартаковки, мимо оккупированных врагом развалин Тракторного завода, стала медленно поворачиваться и у «Красного Октября» остановилась, уперлась своими широкими плечами между пальцью восточного и западного берега Волги.

В ясное небо, осторожно раздвигая звезды, поднялась луна, и все бывшее в мире белым стало нежным, синим и голубым. Лишь одна луна осталась яркой и белой, словно собрала в себя всю белизну степного снега. А ветер все продолжал дуть — холодный и злой, и милый для тысяч сердец.

Течение, сдержанное льдиной, стало искать себе ходов поближе к речному дну, поверхность воды покрылась рыхлой тончайшей корочкой. Через полчаса часов она упрочилась, закристаллизовалась, и в эту же ночь по трехсантиметровому, прогибающемуся и постреливающему льду первым пере-

шел с левого на правый берег Волги сержант саперно-пioneerного батальона Титов.

Он вышел на берег, оглянулся на далекое Заволжье и стал сворачивать панировку. И в эту минуту, когда Титов, бахгаясь, ответил окружающим его красноармейцам: «Как пошел? Взял, да и пошел. — чего проще» — именно в эту минуту время перелистнуло величавую и трагическую страницу в книге Сталинградской борьбы, страницу, написанную темными, большими руками с потрескавшейся от ледяной коры кожей, руками сержантов, красноармейцев полтонных и инженерно-саперных батальонов, руками мотористов, грузчиков патрулей, всех тех, кто сто дней держал переправу через Волгу, переплывал темносерую ледяную реку, глядел в глаза быстрой жестокой смерти. Когда-нибудь снова песню о тех, кто спит на дне Волги. Эта песня будет проста, правдива, как труд и смерть среди черных, ночных льдов, вдруг загоравшихся синим пламенем от разрывов термитных снарядов, от холодных голубых глаз арийских крижачков.

Ночью мы идем по Волге. Двухдневный лед уже не прогибается под тяжестью шагов. Луна освещает сеть тропинок, бесчисленные следы салазок. Сильной красноармеец идет поперек укреплению и быстро, словно он толкал свой шаг по этим пересекающимся тропинкам. Непожиданно лед начинает потрескивать, связной подхвост к зимней полынью, останавливается и говорит: «Эге, да мы, видите, не так пошли, надо бы вправо взять».

Эту утешительную фразу почти всегда произносят связные, куда бы и где бы они вас не вели. Мы берем вправо и снова **выходим на тропинку**.

Блуждающая лунная нагота накладывается на луну, и тогда белая Волга темнеет, словно покрывается серой золой. Разбитые снарядами бажки гонимы в лед, голубовато поблескивают облетевшие канаты, грубо подвешенные катки к рукам, носы разбитых катков, моторных лодок.

На завалах идет бой. Темные разрушенные стены цехов вдруг сереют белым и розовым огнем орудийных выстрелов. Гулко, с перекатом, ударяют пушки, сухо и зловеще гасносятся миные разрывы, то и дело слышатся чужие очереди автомата и пулеметов. Эта музыка разрушения странно похожа на мирную работу завода, словно бег паровой улитки, ильня болванки стали, словно раз в мирные

времена. плет клепка и разбивает скрап в вагоне пехе для загрузки мартенов, словно жидкая сталь и шпак, льющееся в котлы, освещают розовым быстрым светом молодой великий лед.

Звуки ночного боя на заводе тоже говорят о новой странице сталинградской борьбы. Это уже не тот стихийный грохот, который поднимался высоко в небо, рушил с неба потками на землю, захлестывал весь огромный великий простор. Это битва снайперских ударов. Прямые и быстрые трассы пулеметных очередей и снарядов пролетают между цехами: они не похожи на медленно светящиеся тинер-болы воздушной войны, на близких дистанциях между цехами трассы похожи на стертые концы и стрелы, лущенным невидимым бо тьме воином. Стремительно возникают они из камня стен и впадают в холодный камень стен, и падают в нем. Снаряды и мины долбит немецкие котлы, идут зарывающиеся в тинные замаскированные блиндажи немецких пулеметчиков, подобно бритвенному ножу и разрезает их, разрывая над глубокими хатами сообщения. Снайпер — герой этих, сегодняшних боев в заводском районе. Снайпер-министр, снайпер-артиллерист, снайпер-гранатометчик, снайпер-похотитель. Немец закопался в землю, ушел в каменные норы, залез в глубокие подвалы. Немцы разбежались по бетонированным бакам, по водопроводным и канализационным котлам, они забрались в подземные туннели. Лишь снайперским снарядом, точно брошенной гранатой, тащить их из нор можно их выкапывать, уязвить, выжать из глубоких темных нор.

Приходит утро, и солнце гонит в своем мерном и безнад Сталлиградом, умиротворенном немцами. Солнце гонит над желтым песчанником, обнаженным в обрыве Волги. Оно освещает каменные, истонченные снарядными разрывами, заросшие дымом, растерявшиеся в горах битвы, где в смертной схватке схватились полки и дивизии. Оно освещает края огромных ям, вырытых тонкими бомбами. Оно этих страшных ям, встает в угрюмом сумраке, солнце бьет в ямы их. Солнце, улыбаясь, глядит сквозь пространственные насквозь снарядными заросшими трубами. Солнце стоит над слиянием неизвестных путей, где цистерны с разрывочным бегом доходят, как убитые лошади, где сотни толстых вагонов промываются они на другой, поднятые силой взрывной волны, толкаются вокруг холодных паровозов, словно обезумевшее от ужаса

стадо, жмущееся к своим вожакам. Солнце светит над прудами красного от ржавчины железа, над могучим военным и заводским металлом, погнбшим в корчах взрывов и сохранившим навек мгновенную, смертную судорогу. Зампсе солнце светит над братскими могилами, над самодельными памятниками, поставленными в тех местах, где лежат убитые в боях на направлении главного удара.

Мертвые снят на холмистых высотах у развалин заводских цехов, в оврагах и балках, они снят там, где воевали, и как величественный памятник простой кровавой верности стоят эти могилы у траншей, блиндажей, каменных стен с амбразурами, которые не сдались противнику.

Святая земля! Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город торжествующей народной свободы, выросший среди развалин, робрать его весь в себя, все эти подземные жилища с дымящими на солнце трубами, с перелетением трюнков и новых дорог, с тяжелыми минометами, поднявшими дула между землянок, с этими сотнями людей в батниках, шинелях, шапках-ушанках, людей, занятых бессонным делом войны, несущих мины, как хлеба, помышкой, чистящих картонку подле нацеленного дула тяжелой пушки, переругивающихся, поющих вполголоса, рассказывающих о ночном гранатном бое, таких величественно-будничных в своем героизме. Как сохранить в памяти все эти бесчеленные картины, эту чудесную движущуюся панораму сталинградской обороны, эту живую минуту великого сегодня, которое завтра станет вечной страницей истории.

Но все меняется — и как не похожа переправа сегодняшнего дня на вчерашнюю, как не похож спайперский почпый бой на заводе на стихийные ноябрьские атаки. Как сегодняшний сталинградский день не похож на отечественные дни октября и ноября. Русский солдат вышел из земли, вышел из камня, он распрямился во весь рост, он ходит спокойно, петоролично, при ярком солнечном свете, по сверкающей закованной Волге. Переваливаясь, идут бойцы, голочат салазки, ездовые сержито потоняют лошадей, неуверенно ступающих по гладкому льду. На снежном холме левого берега чеканно выделяются грузовики, разгружающие припасы. Почтампон с кожаной сумкой медленно бредет под солнцем на командный пункт батальона, а по холму несут термосы с супом, несут двое связанных, пизгающих во весь

рост в сорока метрах от немецких окопов. Да, солдаты завоевали солнце, завоевали дневной свет, завоевали великое право ходить по сталинградской земле во весь рост под голубым небом, завоевали день. Только сталинградцы знают цену этой победы, и они сами смеются, глядя на движение войск и машин под солнцем. Ведь долгие месяцы малейшее шевелящееся пятнышко, дневной дымок, человек, мелькнувший в ходе сообщения, вызывали на себя тяжелый огонь немецких войск. Ведь долгие месяцы дневное сталинградское небо, захваченное «Юнкерсами», перестало быть русским небом, а стало немецким адом, ведь долгие месяцы тысячи людей ожидало почи, чтобы выйти из камня и земли, чтобы оправиться, вдохнуть глоток свежего воздуха, расправить онемевшие руки.

Да, все меняется, и те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских домах и паясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днем подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин. Долго простоял я с биноклем на четвертом этаже одного из разбомбленных сталинградских домов, глядя на занятые немцами кварталы и заводские цехи. Ни одного дымка, ни одной движущейся фигуры. Для них нет здесь солнца, нет света дня, им выдаст сейчас 25—30 патронов на день, им приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных нишах, и гложут конину, сидят в дымном мраке, среди развалин уничтоженного ими прекрасного города, в мертвых полах заводов, которыми горилась советская страна. По потам они выползают на поверхность и, чувствуя страх перед медленно сжимающей их русской силой, кричат: «Эй, рус, стреляй в ноги, зачем голову стреляешь». «Эй, рус, мне холодно, давай менять автомат на шапку».

Из шестиствольных минометов они разбужили город-вод. они выпустили 500 снарядов по Сталграду, они сожгли все, что могло гореть, они уничтожили школы, аптеки, больницы. И приняли для них страшные дни и ночи, когда законом истории и волей русского солдата им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, в темноте, без солнца, гложая конину, прячась от солнца и дневного

соста мод жестокими звездами русской декабрьской ночи. Да, все меняется, все изменяется в Сталинграде. Справедлив и грозен закон истории, непоколебима воля наших сталинградских армий.

19 декабря 1942 г.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Когда входили в блиндажи и подземные жилища командиров и бойцов, инстинктивно схватывает страстное желание сохранить наскоро замечательные черты этого неповторимого быта: эти суетильники и печные трубы, сделанные из артиллерийских гильз; эти чарки из кедровых толчков, которые стоят на столах рядом с бокалом из хрусталя; эту фарфоровую пепельницу с надписью: «Жена, не сердись мужа» рядом с противотанковой гранатой; этот огненный матовый электрический шар в рабочем блиндаже командующего; эту улыбку Чуйкова, горящего: «Ну, да, и ладно, мы все в городе живем», и этот том Шекспира в подземном кабинете генерала Гурова, с положенными на странички отками в металлическом орудии; эту пачку фотографий с надписью «лапочке» на исчерченной красным и синим карандашом карте; этот подземный кабинет генерала Крылова с добротным письменным столом, за которым шла великодушная работа начальника штаба. Все эти самовары и патефоны, голубые семейные сахарницы и круглые зеркала в деревянных рамах, висящие на глиняных стенах подземелий, — весь этот был, мирную створку, вынесенную из огня горящих зданий, это инстинктивно на командном пункте пулеметного батальона, где играли музыкальные пьесы под рев германского наступления. И этот высокий благородный стиль отношений, простоту и непосредственность людей, связанных узлами дружбы, памятью о наивных, величайшими трудами и муками сталинградских боев. Когда командующий 62-й армией разговаривает со связным и связной разговаривает с командующим, когда телефонист захочет к начальнику штаба передать сообщение аппарата, когда командир дивизии Батяк отдаст приказ красной майке, а командир роты толкнет Михайлову, командиру полка, о ночном бое, — во всем, в каждом движении,

В каждом слове и взгляде ощущается этот особый стиль, высокого достоинства, стиль, сочетающий в себе железную беспощадную дисциплину, где по одному слову тысячи людей принимались на смерть, и одновременно братство и равенство всех сталинградцев: генералов и бойцов. Пусть эту черту, этот стиль не упустят те, кто будет писать историю сталинградской битвы.

Не раз писалась о том, как создавалась великая сталинградская оборона, как комментировалась она. Это — слава нашему человеку, слава его мужеству, терпению, его самоотверженности и самопожертвованию.

Среди многих условий, чрезвычайных успехов нашей обороны, следует на одно из почетных мест поставить умелое руководство 62-й армией. О ней нужно рассказать нашему читателю. Командующий Чуйков, член Военного Совета Гуров и начальники штаба Кумы в были не только достойными руководителями операций, они являлись и духом, и стержнем сталинградской битвы. Эти особенности, это своеобразие в руководстве сталинградской обороной нужно вынести и отметить. Не только ясная, спокойная расчетливая мысль, но также беспощадная воля и упорство нужны были для руководства 62-й армией. В это великое дело нужно было вложить все сердце, всю душу. И суровые приказы в дни обороны часто шли не только от разума, но и от сердца. И эти приказы, ходячие приказы, не только разумом, как планом жгли людей, поднимали их на сверхчеловеческие подвиги самопожертвования и терпения. Ибо в те дни чуждеческих подвигов было мало для решения задач, стоявших перед войсками 62-й армии.

Военный совет армии делал с бойцами все тяжести обороны: восемь раз перемещал командный пункт армии. В Сталинграде знают, что знает народ КП. Это значит изгнание боя и инициальный стиль защитников. Совет работников штаба позабыл от мнимости сия в близлежащих Военного совета. Была одна страшная ночь, когда тысячи тонн горючей нефти вывалились из поврежденных немецких цистернами хранилища и с шумом устремились на башни Военного совета. Пламя поднималось на высоту 800 м, а Редга запылала, вся покрывшись горящей нефтью. Героев земля, сильные потоки стенообразно сыпались с крутого обрыва. Начальника штаба генерала Кумарова, работавшего в

звон блицдаже и лишь по страшному жару заметившего, что кругом все пылает, в последнюю минуту сумели перетянуть через огненную реку. Всю ночь Военный совет престоил на узкой кромке берега среди ревущего черного пламени. Командир гвардейской дивизии Родимцев посылал к месту пожара бойцов. Они вернулись и доложили, что Военный совет ушел.

— На левый берег? — спросили их.

— Нет, — ответили бойцы, — ближе к переднему краю.

Бывали дни, когда Военный совет находился ближе к противнику, чем командные пункты дивизии и даже полки. Блицдажи сотрясали так, словно находились в центре мощного землетрясения. Казалось, что могучие бревна скрепления сгибаются, словно эластичные прутья, земля ходила волнами под ногами, кровати и столы приходилось прибивать к полу, как в каютах кораблей во время бури. Бывало, что посуда на столе рассыпалась на мелкие черепки от постоянной вибрации высокой частоты. Радиопередатники отказывали, многочасовая бомбежка сотрясала эмульсию в лампах. Уши уже не воспринимали грохота, казалось, что две стальные иглы проникают в ушные раковины и мучительно давят на мозг. Вот в такой обстановке проходили дни. А ночью, когда стихла бомбежка, командарм Чуйков, сидя за картой, отдавал командирам дивизии приказы. Гуров неожиданно появлялся спокойный, дружелюбный, в дивизиях и полках, Кузлов вел свою работу над картами, таблицами, планами, писал доклады, проверял тысячи цифр, думал. И все они поглядывали на часы и вздыхали: «Вот и скоро рассвет, и снова валтузка».

Вот те условия, в которых работал Военный совет 62-й армии. Эти условия были необычайны. Когда я спросил Чуйкова, что было самым тяжелым для него, он, не задумываясь, ответил: «Часы нарушения связи с войсками. Представляете себе, бывали дни, когда немцы обрывали всю проводную связь с дивизиями, радио переставало работать от сотрясения эмульсии в лампах. Попытки офицера связи — убивает, попытка другого — убивает. Все трещит, грохочет, и нет связи. Вот это ожидание ночи, когда можно наконец связаться с дивизиями... Не было для меня ничего страшней и мучительней этого чувства связанности, неизвестности».

Мы беседуем с командиром долгую декабрьскую ночь.

Иногда Чуйков прислушивается и говорит: — Слышите, тихо? — И, смеясь, добавляет: — Честное слово, скучно.

Он высокий человек, с большим темным, несколько обриженным лицом, с курчавыми волосами, крупным горбатым носом, большими губами, большим голосом. Этот сын тульского крестьянина Чуйкова почему-то напоминает генерала далеких времен первой отечественной войны. Когда-то он был рабочим в шорной мастерской в Петрограде, вырабатывал «малиновый звон». Девятнадцатилетним юношей он командовал полком во время гражданской войны. С тех пор он военный.

Слушая его рассказ, я думал о том, что в этом человеке сочетались черты военного и романтика. Для него оборона Сталинграда не была одной лишь военной проблемой, пусть даже первостепенного стратегического значения. Он переживал и ощущал романтику этой битвы, жестокую и мрачную красоту ее, поэзию войны, поэзию смертной обороны, к которой он обязывал железным приказом командиров и красноармейцев. Для него эта битва за Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты. Когда черные страшные силы немецкой авиации и танков, артиллерии и минометов, собранные фон Боком, Толтом и Паульсом на направлении главного удара, обрушивались всей тяжестью на линию нашей обороны, когда в черном дыму тонело солнце и гранитный фундамент зданий рассыпался мелким песком, когда от гула моторов танковых дивизий колебались подточенные стены зданий и казалось, нет и не может быть ничего живого в этом аду. — тогда из земли поднималась бессмертная, русская пехота.

Да, здесь все силы германской техники были встречены русским солдатом-пехотинцем, и Чуйков, для которого эта, залитая кровью земля была тоже и прекрасней райских садов, говорил: «Как, пролить столько крови, подняться на такие высоты славы и ступить. — за никогда этого не будет». Он учил командиров спокойному, твердому отношению к противнику. «Но так страшен чорт, как его малюют», — говорил он, хотя знал, что в некоторые дни немецкий «чорт» бывал очень страшен на направлении главного удара. Он знал, что суровая правда в оценке противника — необходимейшее условие победы и говорил: «Переоценить силу противника вредно, недооценить — опасно». Он говорил командирам о гордости русского военного, о том, что лучше офицеру

не снести головы, чем поклониться перед строем немецкому штыку. Он верил в русский военный зазор. Он был боеспособен с папиками и трусами, суровейшим среди суровых. Говорят, победителей не судят. Но, я думаю, случись так, что 62-я армия была бы побеждена, ее командующего тоже нельзя было бы судить.

Такой же верой в силу нашей пехоты жил генерал-майор Крылов. На этой вере основывал он свое сложную работу, свои расчеты, свои предвидения. Судьба положила ему жребий быть начальником штаба армии, занимавшей Одессу, затем начальником штаба героической армии. 7 месяцев оборонявшей Севастополь, и, наконец, начальником штаба 62-й Сталинградской армии. Этот тихий, задумчивый человек, с размеренной неторопливой речью, мягкими движениями и мягкой улыбкой, пожалуй, единственный генерал в мире, столь богатый опытом обороны городов. Такого опыта не имеет ни одна академия.

Суровую науку свою генерал Крылов изучал в огне пожаров и грохоте взрывов. Он приучил себя методически работать, обдумывать сложные вопросы, размышлять над замыслами противника, разрабатывать и детализировать маневры и планы в таких адских условиях, в которых ни один человек не мог бы и на минуту сосредоточить свои мысли.

В Сталинграде ему иногда казалось, что севастопольская битва не кончилась, а продолжается здесь, что грохот русской артиллерии на подступах к Одессе слился с ревом немецких минометов, нависших над Сталинградскими заводами. В Одессе бой шел на внешнемعبеде в 15—18 километрах от города, в Севастополе он прилепился к скаликам, шел на Селерной и Корабельной сторонах, а здесь он вел в самый город — на площади и в переулки, в дворы, в дома, в подвалы. Здесь бой шел на том же страшном потенциале, как и в Севастополе, но масштабы его, реальные массы, вздутые в нем, были неизмеримо больше. И здесь сражение, наконец, было выиграно. Крылову казалось, что это победа не только Сталинградской армии, что это победа Одессы и Севастополя.

В чем была тактика противника во всех трех битвах за город? Немцы во всех трех сражениях применяли с собою последовательного исторического и систематического извне обороны, рассеяния боевых порядков и уничтожения и подавления

их по частям в тех случаях, когда им удавалось расчлени-
эти боевые порядки. В этих ударах весь главный расчет де-
лали на силу мотора, на массированное применение концен-
трированной техники, на ошеломление. В такой тактике с воен-
ной точки зрения не было ничего порочного. Наоборот, это
была правильная тактика, но в ней имелся один органиче-
ский порок, избежать которого немцы не могли, — это дис-
пропорция между силой моторного мотора и слабостью немец-
кой пехоты. И вот стальным клином, рвавшим в эту брешь,
были великолепно вооруженные русские стрелковые дивизии,
оборонявшие Сталинград, их стойкость, их бессмертное муже-
ство. Эту силу Крылов по-настоящему познал в Одессе, он
измерил ее возможности в Севастополе и он стал свидетелем
и участником ее торжества на берегу Волги, в Сталинграде.

Вероятно, если через четверть века люди, командовавшие
62-й армией, встретятся с командирами сталинградских ди-
визий, эта встреча будет встречей братьев. Сталики обни-
муются, утрут слезу и начнут вспоминать о великих сталин-
градских днях. Вспоминать Болвинова, погибшего в бою, ко-
торого нежно любили бойцы за то, что он до дня гибели
с ними торжкую чарку солдатской беды. Болвинова, который,
обязавшись граматами, потопил в бою, охранению и
говорил своим бойцам: «Ничего, ребята, не переживайте, до-
живите». Вспомнят, как Болвинов засыпало в блиндаже, и он
под землей вместе со своим штабом затянул песню: «Любо,
любо, братцы, любо, братцы, жить». Вспомнят трубу в которой
сидел Родионцев, и вспомнят, как в тот день, когда дивизия Ро-
дионцева переправлялась через Волгу, работники штаба армии
сели в танки и поддерживали переправу. Вспомнят, как Лу-
тьева засыпало вместе со штабом в пещере и как друзья пре-
ждали и ему ход. Вспомнят, как командир дивизии Батю-
шев доложил в командующему и крикнул: «Батя, ге-
рманский снаряд упал ему под ноги, но не разорвался, и как
Батюшев бросил голову и зашагал дальше, заложив ру-
ку за борт шкеля». Вспомнят, как генерал Гуров звонил
по телефону своему другу, генералу Жолудеву, и говорил:
«Братень, дорогой, помочь ничем тебе не могу». Вспомнят,
как на замерзшем берегу встретились Герценштейн и Людинкер.

Вспомнят многое. Вспомнят, как и то, как предко-
жал Чуйков и как жарко было не только по дороге в блин-
даж командующего, но и в самом его блиндаже. Многое

вспомнят. Это будет горько-сладкая, радостная встреча. Но будет в ней и большая печаль, ибо многие не придут на нее из тех, кого невозможно забыть, ибо все — и командарм, и командиры дивизий — никогда не забудут великого и горького подвига русского солдата, большой кровью своей отстоявшего отчизну.

29 декабря 1942 г.

СТАЛИНГРАДСКОЕ ВОЙСКО

Дорога в батальон идет по железнодорожным путям, заставленным товарными составами среди молодого, ночью выпавшего снега. Мы идем по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идет спокойно, исторически и утешительно объясняет:

«Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережет патроны и мины». Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой абстрактной и благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлением, достаточно ли бережливы засевшие в железобетонных баках немцы. Но, чем ближе мы подходим к этим бакам, тем хуже они становятся изны, отступая за гребень кургана. Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода, мимо груды ржавого железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных стен. Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведенным здесь, что не замечают их вовсе. Нас больше интерес вызывает случайно уцелевшее стекло в окне разрушенной заводской конторы, высокая, не простреленная труба, чудом уцелевший деревянный домик.

— Смотри, пожалуйста, живет домик, — говорят проходящие и улыбаются.

И действительно, трогательно выглядят эти редкие уцелевшие свидетели мирной жизни в царство разрушения и смерти. Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырехэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов. Это крайний западный пункт в нашей сталинградской линии фронта. Он, словно мышь, влезает в запертые немцами дома и постройки. Противник рядом, но красноармейцы заняты своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий рубит топором деля. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет поврежденную часть миномета. Он раздумывает, прежде чем принять решение об отдельных деталях своей работы, затем слова принимается за инструмент и напевает. Совершенно мастеровой человек в обжитой своей мастерской.

А здание носит на себе следы страшной разрушительной работы немцев. Вокруг него чернеют огненные ямы, вырытые германскими «пятисотками». Бетонные стены и потолки провалены прямыми попаданиями авиационных бомб, железная арматура, изодранная силой взрывов, провисает и прогибается, как тонкая рыбачья сеть, постигнутая огромной бедугой. Западная стена разрушена дальнебойной артиллерией. Северная полутораметровая стена провалена ударом из шестиствольного миномета. Огромная труба — мина, с разгерметизированной железными лепестками верхней частью, валяется на каменном полу. Стены пеклены ударами легких снарядов и мип. Но здесь же из металла и камня, непроницаемого для огня, руками красноармейцев вновь созданы стены с узкими длинными амбразурами. Эта разрушенная крепость не сдалась. Она остается форпостом нашей обороны и сейчас своим огнем поддерживает наше наступление.

И сейчас, как и вчера, идет здесь жестокая, справедливая война. В некоторых пунктах противобатальонной траншеи находятся от противника в 20 метрах. Часовой слышит, как по немецкой траншее ходят солдаты, слышит руганню, которая поднимается, когда немцы берут пищу, всю ночь слышит он, как отбивает четотку немецкий караульный в своих худых ботинках. Здесь все пристально, каждый ка-

мень является ориентиром. Здесь много снайперов, и здесь, в этих глубоких, узких траншеях, где люди нарыли себе землянки, поставили печки с трубами из снарядных гильз, где по-хозяйски ругают товарища, отапливающего от рубки дров, где вкусно прихлебывая, едят деревянными ложками суп, принесенный в термосе по ходу сообщения, — здесь день и ночь царит напряжение смертной битвы. Немцы понимают все значение этого участка в системе своей обороны. Здесь нельзя показаться на вершок над краем траншеи, чтобы не щелкнул выстрел немецкого снайпера. Здесь немцы не берегут патронов. Но мерзлая каменная земля, в которую глубоко зарылись немцы, не может уберечь их. День и ночь стучат кирки и лопаты, наши красноармейцы шаг за шагом продвигаются вперед, грудью раздвигая землю, все ближе и ближе к господствующей высоте. И немцы чувствуют, что близок час, когда уж ни снайпер, ни пулеметчик не выстрелят. И их ужасает этот стук лопат, им хочется, чтобы он прекратился хоть на время, хоть на минуту.

— Рус, покури! — кричат они.

Но русские не отвечают. Тогда стук кирок и лопат печезает в грохоте взрывов: немцы хотят в разрывах гранат утопить страшную методическую работу русских. В ответ из наших траншей тоже летят «фенйки» — гранаты. А едва рассеивается дым и стихает грохот, как немцы снова слышат могильный стук. Нет, эта земля не бережет их от смерти. Эта земля их смерть. С каждым часом, с каждой минутой приближаются русские, преодолевая каменную твердость зимней земли... Но вот мы снова на нашем пункте батальона. Через разрушенную стену, на которой сохранилась досочка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим внутрь глубокого подвала. Здесь на столе стоит рюкзанный медный самовар, красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, спесенных сюда из окрестных разрушенных домов. Командир батальона капитан Ильгачкин, высокий, худой человек с черными глазами, с темным высоким лбом. По национальности он чурок. В его лице, в горящих глазах, во впадинах щек, в его речи чувствуется фанатизм, сталинградская одержимость. Он и сам говорит это:

— Я здесь с сентября. И теперь я ни о чем не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда силу,

во сне его вижу. — Он возбужденно стучит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нем быть не может.

В октябре он и красноармеец Рена были одержимы другой идеей: сконструировать «Ю-87» из противотанкового ружья. Пытачники произвели довольно сложные расчеты с учетом начальной скорости пули и средней скорости самолета, составили таблицу направлений для стрельбы. Была построена фантастически остроумная и простая «эскапная установка»: в землю вбивался кол, устранивался на нем втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружье сепаратором укреплялось на спицах колеса, а телега своим лежаком лежала между спицами. И сразу же худой и унылый Рена сбил три немецких пикировщика «Ю-87», голландских танкистов на передний край.

Теперь за противотанковое ружье взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспособил к нему оптический прицел со снайперской оптикой, хочет разрушать немецкие пулеметные точки, разбивать пулю в самую бойницу. И я уверен, что он добьется этого. Сам Зайцев молчаливый человек, о котором говорят в тылу так: «Наш Зайцев культурный, сдержанный, уже двести двадцать пять немцев убил». Он пользуется большим уважением в городе. Военными и невоенными снайперов называют «зайчатами», и когда он обращается к ним и спрашивает: «правильно я говорю?», — все хором отвечают: «спасибо, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев консультируется с техниками, чертит, думает, выдумывает. Здесь, в Сталинграде, как всегда, часто выкидываются, выходящих в войну не только всю жизнь службу, всю жизнь, но и все силы ума, все патристические мысли. Скорее всего пришлось их встретить здесь — и юнкеров, и офицеров, и рядовых красноармейцев, нагрудно вить и кресты, и звезды, все об одном и том же, что-то изобретать, изобретать, изобретать, словно для отп. занимающиеся гор. и. и. на себя обязанность разрабатывать изобретения, разрабатывать здесь, в подвалах города, в котором истощено население этим делом много блестящих профессорских и инженерских умов в просторных институтских и заводских лабораториях. Сталинградское войско горит в городе и на заводах. И так некогда директора сталинградских заводов-гигантов и секретари

райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе, работает знаменитый стахановец или стахановка, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатыми людьми. Батюк, пересчитываясь, перечисляет по пальцам: «Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший минометчик Бездилько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня». И как некогда каждый район города имел свои традиции, свой характер, свои особенности, так и теперь сталинградские дивизии, ровные в славе и заслугах, отличаются одна от другой множеством особенностей и характерных черт. О традициях дивизии Родимцева и Гуртьева мы уже писали. В слаженной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной любовью насмешливости. Тут любят рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле Начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья и шутя переругиваясь, отдающего стрельбу: «Правей два метра. Так, левой метр. Начарт, держись».

Тут любят похвастаться и наш легендарный гуртовоз стрельбы из тяжелого миномета Бездилько. Когда немецкие мины ложатся у командного пункта, командир говорит: «От, сунул сии. Бездилько, хіба так сго я учив?». И Бездилько, не знающий прелеха, вздунний мины с толк-тию до сантиметра, смеется и сорится. И сам Бездилько, человек с веселым мягким темным, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своем счету 305 немцев, любит похвастаться над худеньким командиром 2-й батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков: «А ви оттого и били одной пушкой, що у нас тільки одна пушка и була».

И здесь, в батальоне, любят похвастаться, рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о пленных и живых отходах с немцами, рассказывают, как лезли парашютисты на дно окопа немские гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи, рассказывают, как «сигнал» плеча метаставляющий дурило и вленил все 6 мин по немецким блиндажам, рассказывают, как огромный осколок от тяжелой бомбы, легко могущий убить немца, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бриква, шинель, ватник, гимнастерку, нижнюю рубашку и не порешил даже самого интимного места тела, вылив крови не выпустил. И, рассказывая все эти истории,

люди смеются, и самому все это тебе кажется смешным, и ты сам смеешься.

В соседнем отсечке заведенного подвала размещаются ротные минометы. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.

Тонкий луч солнца проникает через щит, закрывающий окно подвала. Луч медленно выполз по пошке кровати, occupied саног лежащего, поиграл на металлической пуговице шипели, выполз на стол и осторожно, точно боясь взрыва, коснулся ручной гранаты, лежащей возле самовара. Он полз все выше, и это значило, что солнце садилось, что наступал зимний вечер.

Обычно говорят—тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курение, потом послышались тяжелые частые взрывы. А снизу несколько выстрелов, ухнул одинокий взрыв. «Ничего дальнотойное с того берега»,—сказали сидевшие. И хотя все время стреляли, хотя гул вечера в темном холле подвала стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к черному замшевому потолку, все же это был настоящий тихий вечер.

Красноармейцы завели патефон.

— Какую ставить?—спросил один.

Сразу несколько голосов ответили:

— Наму поставь, ту самую.

Тут произошла странная вещь. Пока борец качал пластинку, много говорилось: «Хорошо бы усмирить огерь, в черном разрушенном подвале, свою любимую «Ирландскую застольную». И вдруг торжественный, печальный голос зашел:

За окнами шумит метель...

Видно песня очень понравилась красноармейцам: все сидели молча. Раз десять повторили они одно и то же место:

Миледи смерть, мы просим вас
За дверью подождать...

Эти слова, эта простая и гениальная бетховенская музыка звучала здесь непередаваемо сильно. Пожалуй, это было для меня одно из самых сильных переживаний войны, ибо на войне человек знает много горячих, радостных, горьких чувств, знает ненависть и тоску, знает горе и страх, любовь, жалость, месть. Но редко дается на войне пережить

печаль. А в этих словах, в этой музыке скорбного сердца, в этой свисающей насмешливой просьбе:

Миледи смерть, мы просим вас

За дверью подождать,

была непередаваемая сила, благородная печаль.

И здесь, как никогда, я порадовался великой силе подлинного искусства, тому, что ботховенскую песню слушали торжественно, как церковную службу, солдаты, три месяца прошедшие лицом к лицу со смертью в этом разрушенном, изуродованном, не сдавшемся фашистам здании.

Под эту песню в полутьме подвала торжественно и выпукло вспоминались десятки людей сталинградской обороны, людей, выразивших все величие народной души. Вспомнился суровый, александровский непримиримый сержант Власов, державший перебранку, вспомнился сапер Брысяп, красивый, смуглый, не испытывавший страха в своем беслазачном уделе, дравшийся один против двадцати в пустом двухэтажном доме, вспомнился Подханов, поймавший после ранения ухватиться за левый берег: когда начинался бой, он вылезал из подвала, где находилась санитарная рота, и, подползая к перемешанному краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин отпалывал под ураганным огнем на тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он попал с такой стремительной яростью, что не успела вытупить у него на губах, и его силой оттащили, боялись, что он упадет мертвым от человеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился в горящую машину с боеприпасами и сбил с нее огонь. И вспоминалось, что Выручкина не смог похоронить генерал Молухов, так как Выручкина убито немецкой мной. Может быть в память его, от прадедов передана эта солдатская доблесть — кидаться на помощь попавшим в беду, забывая обо всем: может быть от этого и дали их роду кличку Выручкиных. Вспомнился мне боец полкового батальона Волков. Раненый в плечо, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров преобрался то ползком, то на полутных машинах из гари на переправу и плакал, когда его увезли обратно в госпиталь. Вспомнилось мне то, что стоял в нескольких тракторного завода, но не вынул из горящих зданий, вели стень по последнего патрона. Вспомнилось то, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, то, что отра-

жали немецкие танки в Скульптурном саду. Вспомнилась мне широкая проторенная дорога, ведущая к рыбачьей слободе по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжелой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулеметчики, шли в торжественно суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие, да гудела земля под их тяжелым шагом.

И вдруг вспомнилось мне письмо, написанное детской рукой, письмо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца. «Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте тятя. Я без вас сильно скучаю. Приходишь домой, как на фатеру. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

И вспомнился мне этот убитый тятя. Может быть, он перчитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы...

Как передать чувства, пришедшие в этот час в темном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушая торжественную и печальную песнь, и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях.

1 января 1943 г.

Л. М. Б.
5244

В. П. С. С. С.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Волга—Сталинград	3
Душа красноармейца	10
Сталинградская битва	17
Власов	30
Царицын—Сталинград	39
Глазами Чехова	48
Направление главного удара	56
Новый день	69
Военный совет	74
Сталинградское войско	80

Ответственный за выпуск **Н. В. Комарова.**

Технический редактор **В. Ф. Крашенинникова.**

Художник **Н. Н. Скоков.**

Корректор **В. Г. Камендровская.**

Сталинградское книгоиздательство.

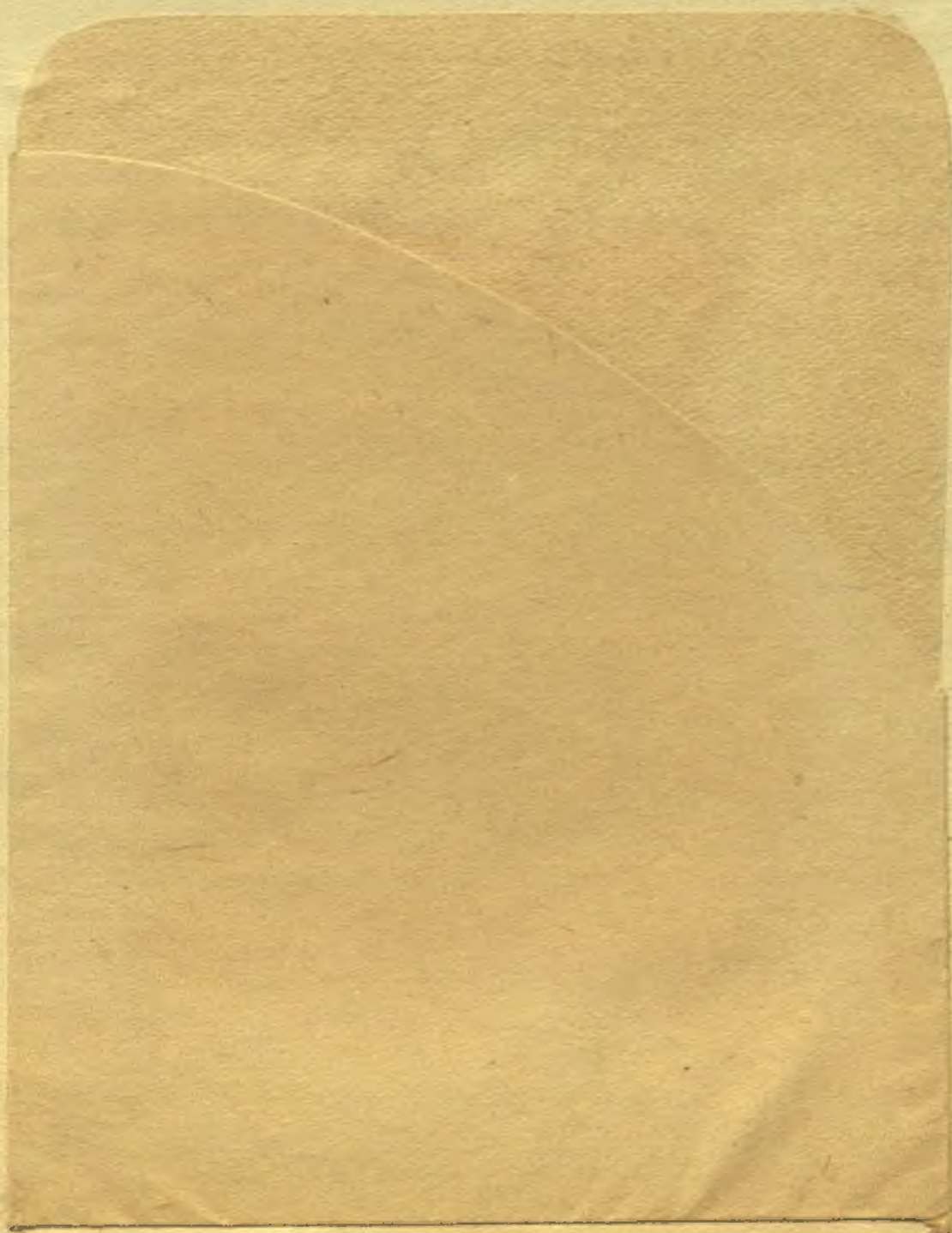
Издание № 2.

Сдано в набор 11/XI—1943 г. Подписано к печати 18/II—1944 г.

Печатных листов 5¹/₂. Учетно-издат. листов 5,2. Тираж 10000.
НМ—07932.

Астрахань, тип. изд-ва „Коммунист“. Заказ № 5203.

22



~~5 PYB.~~ 0,50